

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

891.78 M27*l*e

A 470629 DUPL

Mamin-Sibiryak - kgands







Moeny Dod poly honod only Hypry our ero-hosempse M. Il four neps, Sepana grypmo ma/a. 12 Trons 1902. Marien, D.

Д. Маминъ-Сибирякъ.

Легенды.



С.-ИЕТЕРБУРГЪ.

Паровая скоропечатия И. А. Богельманъ, Невскій, 148

Digitized by Google

811.78 M272e

Дозволено пензурого. С.-Петербургъ, 31-го Декабря 1897 г.

Паровая скоропечатия И. А. Богельманъ. Невскій, 148.

Digitized by Google

ОГЛАВЛЕНІЕ.

												Стр.
Майя												1
Баймаганъ.												24
Лебедь Хан	ты	гая							•			47
Слезы Цар	иць	ί.										65
Сказаніе о	си	бир	ско	тмс	X	анЪ,	, C	гар	омъ	К	y-	
фмон				•								146

TO THE COURT OF TH

THE TOK TOK TOK

RXKM.

T.

ПЛумъ жестокой сѣчи стихалъ... Разбитый на голову непріятель бѣжалъ, оставивъ побѣдителю родной городъ Гунхой. Часть побѣдителей порывалась въ погоню, безъ пощади убивая всякаго, а другая часть, съ ханомъ Сарымбэть во главѣ, приготовлялась занять открытый городъ. Издали это былъ настоящій пчелиный сотъ изъ низенькихъ бѣлыхъ домиковъ съ плоскими кровлями, глухими бѣлыми стѣнами и узкими грязными уличками. Отдѣльно возвышались куполы мечетей и стройныя иглы минаретовъ, отдѣльно стояяъ дворецъ бѣжавшаго хана Олоя, потонувшій въ зелени садовъ.

— Плѣнныхъ не будеть,—говориль молодой ханъ Сарымбэть, подъвзжая къ городскимъ воротамъ.—Побѣду даетъ Аллахъ.. Городъ будетъ могилой для тѣхъ, кто былъ нашимъ врагомъ больше ста лѣтъ. Развалины покажутъ нашимъ

потомкамъ, какъ мы умѣли мстить нашимъ врагамъ. Плѣнныхъ не будетъ, а побѣду даетъ Аллахъ.

Красивъ ханъ Сарымбэть, молодъ, полонъ отваги, настоящій молодой левъ, который въ первый разъ отвѣдалъ горячей крови. Но жестокія слова сказалъ не онъ, а ихъ придумала старая голова главнаго ханскаго совѣтника Кугэй. Беззубый старикъ точно для того прожилъ восемьдесятъ лѣтъ, чтобы внушить молодому хану жестокія слова.

— Такъ нужно, ханъ, такъ нужно, шамкалъ старикъ, едва держась въ своемъ мягкомъ съдлъ. — Аллахъ даетъ побъду, по нужно умъть ею воспользоваться... Не даромъ наша кровь лилась цълыхъ сто лътъ. Огонь гасятъ огнемъ, а кровь кровью.

Хищный старикъ замѣтилъ колебаніе въ лицѣ молодого хана, въ его глазахъ мелькнула жалость, и Кугэй залилъ ее ядомъ своихъ старыхъ словъ.

Молча махнуль рукой хань Сарымбэть, и тысячи всадниковъ ринулись грабить беззащитный городъ, въ которомъ оставались старики, женщины и дъти. Съ гикомъ несласъ страшная смерть... Въ городъ некому было даже защищаться, а только протягивались беззащитныя руки съ мольбой о пощадв. Но ханское слово законъ, и пуствли одна улица за другой, каждый шагъ впередъ усвянъ былъ трупами, а по канавамъ лилась кровь какъ вода. Кто умиралъ подъ ударомъ сабли, кто былъ приколотъ пиками, многіе растоптаны лошадинымъ копытомъ, а двтей разбивали головками о каменныя ствны родныхъ домовъ. Это была настоящая бойня, цвлый адъ... Тысячи людей столпились на базарв, въ мечетяхъ и около мечетей—ихъ и убивали тысячами, точно человвческую жизнь косила острая коса, а смерть висвла въ воздухъ.

Ханъ Сарымбэть смотрѣлъ на побоище изъ своей ставки и слышалъ только отчаянные вопли, заглушаемые веселымъ гиканьемъ побѣдителей. Восточная часть города уже горѣла и некому было тушить огонь. Показалось облако дыма и въ противоположной сторонѣ.

— Я хочу видёть городь,—заявиль ханъ Сарымбэть.

Старый Кугэй нахмурился, по спорить пе смълъ.

Ханъ Сарымбэть въёзжаль въ Гупхой, окруженный блестящей свитой, точно всходило утреннее солнце. Несчастный городъ былъ заваленъ трупами, залитъ кровью, лютое пламя довершало жестокое дёло человеческихъ рукъ

Не смущалось сердце хана пыломъ кровавой съчи, когда онъ летълъ впереди другихъ, а тутъ и онъ задумался, когда ръдкой красоты его боевой конь началъ храпъть и шарашиться въ сторону при видъ теплыхъ труповъ. Убитые старики, женщины и дъти загораживали дорогу. Бълыя стъны сбитыхъ изъ глины домиковъ были обрызганы кровью. Лошадъ хана фыркала и дрожала. Самъ ханъ Сарымбэть опустилъ голову, пораженный страшной картиной всеобщаго избіенія. А тамъ—заваленный трупами базаръ, площадь передъ мечетью... трупы, трупы и трупы.

Оставался не тронутымъ одинъ ханскій дворецъ, оцѣпленный стражей. Въ немъ было тихо, какъ въ могилѣ.

— Ѣдемъ назадъ, —сказалъ Кугэй.

Но туть случилось что-то необыкновенное. Изъ дворца вырвалась цѣлая толпа женщинъ и бросилась навстрѣчу молодому побѣдителю. Онѣ бѣжали съ распущенными волосами, обезумѣвъ отъ страха, бросались ницъ, моля о пощадѣ. Другія хватались за стремена и цѣловали ханскія ноги, полы его халата, его кривую саблю.

— Бей! скомандовалъ Кугэй.

Началось избіеніе... Это было самое ужасное, что только видёлъ ханъ Сарымбэть. Женщинъ и дётей топтали лошадьми, рёзали и кололи. Видь этой резни отуманиль и его голову. Ведь эти женщины—матери, жены, сестры и дочери его исконныхъ враговъ, оне родили проклятое племя Гунхой, оне призывають своими воплями и слезами только свою безсильную ненависть къ нему, оне, вотъ эти женщины, выкололи глаза его деду, попавшемуся въ пленъ, т. е. ихъ бабушки, оне народять еще несметное число его враговъ, а счастье переменчиво. Впередъ!.. Ханскій конь врезался въ живую толпу, а ханская сабля косила головы направо и налево. О, разве можеть быть счастье больше, какъ видеть поверженнаго въ прахъ своего злейшаго врага и наслаждаться его предсмертнымъ хрипеньемъ... Впередъ! Бей! Пленныхъ не будеть...

Ханскій скакунъ вылетѣль впередъ и вынесъ его къ дворцу. Вотъ оно, это проклятое гнѣздо. Ханъ Сарымбеть въ пылу погони на конѣ въѣхалъ прямо во дворецъ. Здѣсь тоже было много женщинъ... Однѣ лежали ницъ, другія, стоя на колѣняхъ, поднимали кверху маленькихъ дѣтей... Нѣтъ никому пощады! Кугэй ворвался во дворецъ слѣдомъ за ханомъ, и началась страшная рѣзня.

— Бей... бей... бей...

Въ одной изъ дальнихъ комнатъ дворца ханъ увидълъ сидъвшую на ковръ молодую женщину

поразительной красоты. Она сидѣла, обнявъ колѣни руками, и не шевелилась, не молила о пощадѣ, не плакала, а съ достоинствомъ ждала своей смерти. Старый Кугэй, задыхавшійся отъ кровавой работы, подбѣжалъ къ ней и уже замахнулся саблей, но ханъ Сарымбэть протянулъ руку.

- Кто ты, жепщина?—тихо спросиль опъ.
- Я-Майя.

Она даже улыбнулась и злобно посмотрѣла на него своими темными, какъ ночь, глазами. Кугэй скрежеталъ зубами отъ ярости, а ханъ Сарымбэть сдѣлалъ уже знакъ, что даруетъ жизнь смѣлой женщинѣ, позабывъ собственный приказъ о всеобщемъ истребленіи.

II.

Городъ Шибэ торжествоваль, ожидая возвращенія побідителей. Да, проклятое племя Гунхой было уничтожено, городъ Гунхой срыть до основанія, и не осталось въ немъ камня на камні. Такова воля Аллаха... Племя Шибэ и племя Гунхой враждовали издревлів, какъ враждуеть собака съ волкомъ, и вотъ свершилось то, чего не могли предугадать самые умные. Гунхоя піть, а есть Шибэ...

Возвращавшійся въ свою столицу ханъ Сарымбэть быль встрічень, какъ молодой місяць. Многотысячная толпа ликовала, везді горіли веселые огни, слышались веселыя пісни и клики радости.

— Да живетъ ханъ и да радуется ханское сердце!..

Грустенъ возвращался одинъ старикъ Кугъй. Воля Аллаха не была исполнена и ханское слово измѣнило самому себѣ. Много добычи взяли съ собою войска, и великая радость ожидала ихъ у себя дома. Но стараго Кугъя безпокоила плѣнница, которую везли вмѣстѣ съ добычей къ Шибъ. И для чего она понадобилась хану Сарымбъть? Развѣ не стало у него своихъ женщинъ: тридцать женъ, тридцать прислужницъ—можно еще столько же добыть. Такъ нѣтъ, увидѣлъ Майю и везеть ее къ себѣ, точно сокровище.

- Майя была наложницей Олой-хана,—шепталь Кугэй хану Сарымбэть, чтобы возбудить въ послъднемъ чувство ревности.
- Знаю... коротко отвічаль молодой ханъ.— Ты можешь прибавить, Кугэй, что Майя во дворець Олой-хана попала уже не дівушкой. Она попала плінницей... Ея мужь—степной батырь
 - Ея мужъ, ханъ?.. Вотъ цвътокъ разцвъ-

таетъ въ полѣ и даетъ плодъ, — развѣ у него есть мужъ?.. Не одинъ батырь былъ у Майи... Она переходила изъ рукъ въ руки, какъ старая монета.

— Старыя золотыя монеты ты самъ любишь Кугэй... смѣялся ханъ. — Онѣ имѣютъ только одинъ недостатокъ, именно, принадлежатъ только тому, кто ихъ держитъ въ рукахъ.

Шибо веселился, а Майя сидъла въ ханскомъ дворцъ и горько плакала. Да, у нея теперь явились и слезы... Зачъмъ она не умерла вмъстъ съ другими?.. Страшно жить... Она часто просыпалась ночью и вздрагивала: предъ ея глазами проносилась ужасная картина. Отчаянный крикъ матерей, защищавшихъ своихъ дътей, стоны раненыхъ, мольбы о пощадъ и смерть, смерть, смерть...

У Майи было свое отдільное пом'вщеніе во дворці, куда никто не см'яль входить, кром'я хана Сарымбэть. Да, онъ пришель къ ней, но не какъ къ плітниці, а какъ слуга.

— Не нужно-ли тебѣ чего-нибудь, Майя? У тебя заплаканные глаза... Можетъ быть, съ тобою дурно обращаются?..

Майя сдълала отрицательное движение головой.

— Можетъ быть ты оплакиваешь хана Олой? тише спросиль Сарымбэть.

- Нать...
- Что же тебь нужно?..
- О, еслибы у меня было столько глазъ, сколько у ночи зв'вздъ, то и тогда я не выплакала бы всего своего горя... Вотъ ты радуещься, ты счастливъ, а мнѣ тебя жаль. Оставь меня съ моимъ горемъ... Тебъ—радость, мнъ—горе.
- Знаю, ты оплакиваешь своего батыря!— гнѣвно сказалъ Сарымбэть.—Женщина принадлежить только тому, кто первый ее взялъ... И всей крови пролитой въ Гунхоѣ не хватитъ на то, что бы смыть съ тебя одно имя твоего батыря. Я все знаю, Майя...
 - Убей меня, ханъ! Я желаю умереть...

Заскучаль молодой хань Сарымбэть, и ничто ему не мило. Такъ и тянеть его къ Майѣ, а пришель туда и—словъ нѣть. Чужими глазами она смотрѣла на него... Не то ему было нужно. Самому себѣ удивляется ханъ Сарымбэть, —такъ приворожила его полонянка Майя. Да, и ночью онъ ее видить, и протягиваетъ руки, и говорить ласковыя слова, а днемъ смѣлость оставляетъ его, и ханъ бродить по своимъ садамъ, какъ потерянный. Не миль ему и собственный дворецъ, не милы и любимыя жены, и охота, и всякія другія удовольствія. Ничто не мило хану и хо-

дить онъ по собственному дворцу, какъ тень.

— Майя... Майя...

Иногда онъ сердится на нее, припоминая ея батыря и хана Олоя. Да, ты вотъ кого любила, Майя... Ты думаешь о своихъ любовникахъ. О, змѣя, змѣя... Мало было убить тебя, а нужно замуровать живой въ стѣну. Нужно отрубить руки, обнимавшія батыря, вырвать языкъ, лепетавшій любовныя слова, выколоть глаза, глядѣвшіе на хана Олоя ласково... вырвать живымъ это змѣиное сердце, бившееся для другихъ! — И много такихъ жестокихъ мыслей роится въ головѣ хана, а увидитъ Майю, оробѣетъ самъ, чувствуя, какъ безсилѣетъ тѣло и путаются мысли въ головѣ.

- Ты меня спрашиваль, что мив пужно,— проговорила однажды Майя, глядя на него сво-ими темными глазами.—Да, мив пужно... Когда я умру, похорони меня въ стени, въ вольной степи, гдв гуляеть вольный степной ввтеръ... Есть тамъ озеро Кара-Куль, на его берегу но-хорони меня. Не пужно мив ханской могилы, не пужно тяжелыхъ кампей на могилу.
- Все будеть исполнено, Майя, по зачёмъ ты говоришь о смерти?..
 - --- О, я скоро умру, ханъ... я знаю это. И онять молчить Майя, только смотрить на

молодого хана своими большими глазами. Жутко сдълалось хану Сарымбэть, опустить онъ свои глаза и чувствуетъ только, какъ замираетъ въ груди его собственное сердце. Приворожила его Майя... Ахъ, если бы она хоть разъ взглянула на него ласково—онъ самъ готовъ умереть. Но смотритъ Майя попрежнему чужими глазами...

Старый Кугэй давно зам'єтиль, какь изм'єнился ханъ Сарымбэть, похуд'єль, сд'єлался задумчивь, пересталь улыбаться и не желаль ни сь к'ємь говорить.

- Скучаеть ханъ...—говориль вкрадчиво хитрый старикъ.—Позволь старому Кугэю зайти къ Майъ, и онъ вышибъ-бы изъ нея своей нагайкой цамять о батыряхъ и ханъ Олоъ... А любовь Майи въ твоихъ рукахъ. Когда я былъ молодъ, то бралъ любовь силой!..
- Ахъ, не то...—стональ ханъ Сарымбэть.— Мало ли у меня своихъ красавицъ? Не то, старый Кугэй... Ты поглупъль отъ старости.
- Я поглупѣдъ?..—смѣядся зло старикъ.— Я поглупѣдъ, старый Кугэй? А кто говорилъ тебѣ, чтобы не брать плѣнныхъ изъ Гунхоя? Вотъ теперь ты самъ сидишь въ плѣну у ничтожной плѣнницы... И какой ханъ молодой, красивый, храбрый! Хочешь, добудемъ десять новыхъ красавицъ, десять новыхъ женъ... Одна

другой краше, какъ цвѣты въ полѣ, а Майя пусть имъ служить. Воть какъ сдѣлаемъ, ханъ, а ты говоришь: «Кугэй—старый дуракъ».

III.

Такъ прошло полгода, а черезъ полгода гордые глаза Майи опустились сами собой, когда вошелъ къ пей ханъ Сарымбэть.

- Что съ тобою Майя? Ты нездорова? Она отвернулась.
- Майя...
- Нѣтъ больше Майи... Зачѣмъ ты пришель сюда? Уходи къ своимъ женщинамъ... Тамъ каждый взглядъ купленъ, каждая улыбка—насиліе. Онѣ все готовы сдѣлать для своего повелителя, потому что рабыни не тѣломъ, а всей душой. Онѣ ждутъ тебя... иди!..

Радостно забилось сердце хана Сарымбэть. Это были знакомыя ему слова женской ревности. Майя начинала его любить и сердилась на самое себя. Да, воть это не берется ни насиліемь, ни деньгами. О, велика сила любви и приходить она противъ воли человѣка, какъ пожаръ.

Тихо подошелъ ханъ Сарымбэть къ Майъ, обнялъ ее и прошепталъ:

— Я давно тебя люблю, Майя... Люблю съ перваго раза, какъ увидълъ.

Задрожала Майя, какъ молодая зеленая травка, закрыла глаза и отвётила:

- Твоя любовь убьеть меня... Я это чувствую.
 - Ты скажи, Майя: ты любишь меня?

У нея не было словъ, а только протянулись теплыя руки и счастливое лицо спряталось на груди хана.

На другой день Майя сказала хану:

- Я тебя вчера любила, а сегодня непавижу...
 - За что же, моя радость?
- А помнишь, какъ ты истребляль Гунхой? Я смотръла въ окно, когда ты своимъ конемъ топталь беззащитныхъ женщинъ, и вотъ эта рука рубила женскія головы... Да, я тебя ненавижу и вмъстъ съ тъмъ люблю... Меня приводить въ ужасъ это двойное чувство.
- Того хана уже давно нѣть, Майя, какъ нѣть и Гунхоя. Такова воля Аллаха... Онъ даеть и побѣду, и счастье. Да и чего тебѣ жалѣть: ты была только плѣнницей у Олой хана...

Майя гордо выпрямилась и посмотрѣла на хана потемнъвшими глазами.

- Я была плѣнницей Олой хана, но не любила его... А вотъ тебя люблю и въ томъ моя погибель.
 - И моя, Майя...

- Какимъ счастъемъ пахнуло на хана Сарымбэть!.. Не было ни дня, ни ночи, а одно только счастье. Смѣялась Майя и онъ смѣялся, хмурилсь ея темныя брови,—и онъ хмурился. Она думала, а онъ говорилъ,—и наобороть. Они читали мысли другъ у друга въ душѣ, и это даже пугало ихъ. Иногда Майя задумывалась, и ханъ Сарымбэть хмурился, точно надъ ихъ головами проносились тяжелыя тѣни.

— Майя, о, я знаю, о чемъ ты думаешь!..

Онъ скрежеталъ зубами и падалъ на подушки въ безсильной ярости, чувствуя, что много есть такого, что не въ состояни вырвать даже любовь. Ахъ, какъ много... Майя чувствовала его мысли и лицо у нея бледиело, точно она умирала. Да, она страдала и за себя и за него, и чемъ была счастливее, темъ сильнее мучилась.

— Майя, не думай ни о чемъ, — утвшалъ се ханъ Сарымбэть. — Что было, то прошло, а я счастливъ настоящимъ... О, какъ я счастливъ, Майя!.. Я до сихъ поръ даже и приблизительно не зналъ, что такое любовь...

Ханъ Сарымбэть часто говорилъ и думалъ о

счастьи и всетаки не зналь, что такое счастье... Здоровый не чувствуеть въ полномъ объемъ своего здоровья, такъ и счастливые люди. Онъ даже потеряль счетъ времени, а оно шло такъ быстро, какъ колесо, которое катится по хорошей дорогъ.

Разъ Майя припала своей красивой головкой къ груди хана и, красивя, проговорила.

- Мой повелитель, мое счастье, моя радость, я тебя подарю скоро величайшимъ счастьемъ, какимъ только можетъ подарить любимая женщина... Твоя радость отпечаталась въ моемъ сердцѣ, и я тебѣ подарю маленькаго хана. Да... Подарю, а сама умру. Я это чувствую...
- Майя, свыть моихъ глазъ, дыханіе моихъ усть, что ты говоришь?!..
- Да, да... Воля Аллаха неиспов'єдима и ты скоро будещь отцомъ. Помни, что ты похоронишь меня въ степи, на берегу Кара-Куль, гдѣ носится вольный степной в'ьтеръ. Это мое послъднее желаніе...

Задумался ханъ Сарынбэть и потомъ засмѣялся. Всв женщины боятся родовъ, но въдь
родять же бъдныя и больныя женщины, а его
Майя будеть окружена и лучшимъ уходомъ, и
всякими удобствами.

Все, что можно купить или достать силой все будеть у Майи...

Майя не обманулась. Она готовилась быть матерью, и счастливый ханъ Сарымбэть ухаживаль за ней вдвойнь, какъ не ухаживаль для нея и спаль въ ея комнатахъ, какъ носледній рабъ, чтобы ничто не нарушало покоя царицы Майи. Да, она была царица вдвойнь... Какъ онъ караулиль ея сонъ, какъ угождаль мальйшей ея прихоти и какъ быль счастливъ. Ожидаемый ребенокъ долженъ быль покрыть собой все прошлое Майи, и съ нимъ рождалась новая жизнь.

— Ты меня забудешь...—говорила грустно Майя со слезами на глазахъ. — У тебя столько красивыхъ женщинъ, а Майи не будеть. Только одна ея тѣнь пронесется вотъ здѣсь, гдѣ она была такъ счастлива... Помни это, ханъ, и впередъ всякая твоя радость будетъ отравлена. Вотъ здѣсь будетъ незримо бродить моя тѣнь... Здѣсь я была счастлива своимъ короткимъ счастьемъ.

Не върилъ ханъ этимъ тяжелымъ предчувствіямъ, а случилось именно такъ, какъ думала Майя.

Она родила хану наслѣдника, а сама умерла на другой день

Ханъ не отходилъ отъ ея постели и, когда она лежала мертвою, все смотрълъ на нее. Даже холодная рука смерти пощадила эту царственную красоту. Никогда Майя еще не была такъ красива, какъ мертвая—лицо такое строгое, блъдное, точно выточено изъ слоновой кости.

— Майя... Майя... повторяль ханъ Сарымбэть, хватаясь за голову. — Моя Майя... Моя дорогая... Майя, ты не слышишь, не слышишь меня?!..

Майя уже ничего не слыхала.

За ханомъ ухаживалъ одинъ старый Кугэй и повторялъ:

- Такова воля Аллаха, ханъ!.. Мы всъ умремъ...
- Отчего-же ты не умерь, а умерла она моя Майя?..—стональ хань, ломая руки.—Ты, старая гнилушка, живешь, а Майя умерла... Нъть справедливости на землъ. Я не върю Аллаху...

Старый Кугэй въ ужасѣ затыкалъ уши отъ такого богохульства и закрываль глаза.

zi – i ili. diigi di**rv.** – imga bitaa sii

Похоронили Майю на высоком берегу озера Кара-Куль, и вольный вътеръ насыналъ надъ ней могилу.

Ханъ Сарымбэть каждый день просыпался въ слезахъ и въ слезахъ засыпалъ. Его молодое сердце умерло вмъстъ съ Майей, закрылась радость, погасъ яркій свътъ,—ничего не осталось у хана, кромѣ глазъ, чтобы оплакивать свое черное горе. Опостыльлъ ему и дворецъ, и зеленые сады, и красавицы жены. Нътъ Майи, и ничего не нужно хапу... Нътъ Майи, слышите?..

Единственное утвшеніе осталось хану: каждое утро онъ уважаль на могилу Майи. Прівдеть, пустить коня пастись, а самъ сидить на могиль, горько плачеть и все зоветь ее, Майю.

— Майя... Майя... Слышишь-ли ты меня? Вёдь я здёсь, я съ тобой... Смерть насъ разлучила, но она же и соединить насъ. Рядомъ я лягу съ тобой, Майя.... Дорогая, родная Майя, я здёсь... Горлинка моя, свёть мой, я здёсь!..

Громко кличеть молодой хапъ Майю, а в'втеръ разносить его жалобу, — одинъ вольный степной вътеръ слышить ханское горе, да зеленая степная трава, да ясныя зори. И ни отъ кого не получалъ отвъта ханъ... Одинъ онъ со своимъ горемъ.

По пълымъ часамъ сидить ханъ на крутомъ берегу и смотрить на шелковую гладь степнаго озера, обложенную зелеными ръсницами камышей, точно рамой изъ дорогаго рытаго бархата. Давно-ли онъ вздилъ сюда на охоту, и радовалось ханское сердце молодецкой забавой, а теперь ничего пе нужно хану. Майя, Майя... Все ты унесла съ собой, а оставила одно черное горе. Ханъ Сарымбэть, слышишь-ли? Какой ханъ--нёть и хана, какъ нёть Майи, а ходить одно черное горе, и плачеть, и жалуется. Нъть хана-это люди придумали. Если-бы онъ быль сильные другихъ, то удержалъ-бы Майю, отогрель ея холодевшія руки своимь дыханьемь, раскрыль своими поцёлуями ея чудные глаза и теплотой своего сердца сограль эту грудь... Выдь живуть-же другія женщины?.. Ахъ, Майя, Майя... Нътъ Майи, нътъ и хана!...

Такъ прошелъ и годъ, и другой, и третій.

Попрежнему горюеть ханъ Сарымбэть, попрежнему вздить на могилку Майи и попрежнему плачеть надъ ней и громко занеть ее, Майю, и попрежнему не получаеть отвъта. Похудъть, постаръль ханъ, точно прожиль тридцать лътъ, а въ бородъ уже серебрится съдина. Ханъ Сарымбэть старится, а молодой ханъ, сынъ Майи, растетъ: въ немъ проснулась красота матери. Но не радуетъ хана и любимый сынъ... Тошно ему у себя во дворцъ, скучно, все надоъло.

— Кугэй, старая лисица, мнѣ надоѣло быть ханомъ, — сказалъ Сарымбэть своему старому совѣтнику. — Да, надоѣло... Я оставляю вамъ ханомъ сына Майи, а самъ уйду. Нѣтъ моихъ силъ больше... Какой я ханъ, когда не могъ сохранить, посланную мнѣ Аллахомъ, жемчужину.

Низко поклонился хитрый Кугэй, счастливый тымь, что могь управлять всымь, пока ребенокь хань подросталь. У всякаго были свои мысли...

Такъ и ущелъ ханъ Сарымбэть изъ Шибэ, распустивъ женъ и оставивъ всѣ сокровища. Даже не взяль онъ съ собой лишней пары одежды. Для чего?.. Вѣдь и ханъ, и послѣдній нищій одинаково будуть лежать въ землѣ, для чего же обременять себя лишнимъ платьемъ. Такъ и сдѣлалъ ханъ; надѣлъ рубище дервиша, взялъ его кошель и палку и ушелъ изъ Шибэ.

Поселился Сарымбэть на берегу Кара-Куль, около могилы Майи. Выкопаль землянку и живеть, какъ отшельникъ. Перечиталь онъ много

мудрыхъ книгъ, долго и много молился и тысячу разъ передумалъ всю свою жизнь, полную легкомысленныхъ радостей, суетныхъ желаній и мыслей. Онъ не видѣлъ той пропасти, которая была сейчасъ подъ ногами...

Каждый день, каждый часъ, проведенный съ Майей, быль сокровищемъ, а онъ его не замъчалъ, ослъпленный собственнымъ счастьемъ. И такъ всъ люди живуть, обвъянные счастливой слъпотой...

Жилъ Сарымбэть на берегу Кара-Куль до самой смерти, пока не сдёлался сёдымъ и дряхлымъ старикомъ. Къ нему приходили издалека, чтобы новёдать какое нибудь горе и научиться мудрости. Да, состарёлся Сарымбэть, и глаза уже плохо видёли, а онъ все оплакиваль свою Майю, точно она умерла только вчера. Вёдь она открыла ему свётъ жизни, она отдала ему сердце и душу, и просснулось его сердце...

— Майя, слышишь-ли ты меня? повторяль онъ каждый день надъ могилой своей возлюбленной. — Ужъ скоро я приду къ тебъ, Майя, мое счастье, моя радость... Скоро, скоро!..

Сарымбэть вырыль себѣ могилу рядомъ и спаль въ ней, чтобы быть ближе къ ней, къ Майъ.

Разъ онъ молился и слышить незнакомый

- **Ханъ Сарымбэть...**
- Нътъ здъсь никакого хана, а есть нищій Сарымбэть.
 - Ты меня не узнаешь?

Посмотрѣлъ Сарымбэть—передъ нимъ стоялъ старый—старый человѣкъ съ пожелтѣвшей отъ времени бородой.

- Я--ханъ Олой...
- A, это ты... что же, садись рядомъ: мъста довольно.

Они долго сидѣли и молчали.

— Сарымбэть, много ты пролиль напрасной крови, но и искупиль ее своимъ подвижничествомъ. Я пришель мириться съ тобой...

Заплакалъ Сарымбэть, припоминая истребленіе Гунхая и сказалъ:

— Похорони меня рядомъ съ Майей, ханъ Олой... Я завтра умру. Видълъ я здъсь на озеръ чудо. Когда я былъ ханомъ и ъздилъ на озеро на охоту, то убилъ лебедушку. Чудная птица лебедь... Когда я переселился сюда, то лебедь, оставшійся безъ лебедушки, каждую весну прилеталъ сюда и каждое утро выплывалъ на озеро и жалобно кликалъ свою лобедушку.

Тридцать лёть онъ прилеталь, тридцать лёть гореваль, а въ последний разъ прилетель, поднялся высоко высоко и грянулся доземь. Я это видёль и подумаль, насколько человёкь хуже даже глупой птицы... Моя Майя открыла мнё глаза, и я знаю только одно счастье, чтобы похоронили меня рядомъ съ ней.

Сбылись слова праведнаго человѣка: когда ханъ Олой проснулся на другой день, Сарымбэть быль уже мертвъ. Бывшій смертельный врагь похорониль его рядомъ съ Майей.

Такъ было, и сейчасъ, на высокомъ берегу озера Кара-Куль красуется двойная могила хана Сарымбэть съ красавицей Майей. Издалека приходять люди, чтобы поклониться ихъ праху: такъ любили они другъ друга... Ровно черезъ сто лътъ племя Гунхой напало на Шибэ и разрушило городъ, какъ прежде былъ разрушенъ Гунхой: то сдълалъ впукъ Олой хана. Все было истреблено выжжению и разрушено. Но даже враги не тронули могилы Майи, а внукъ хана Олоя самъ пріъхалъ носмотръть святое мъсто и прослезился.

— Хапъ Сарымбэть показаль, какъ пужно любить,—сказаль онъ.—Все проходить, разрушается, исчезаеть, а остается одна любовь...

THATAMAGA

I.

Хороша Киргизская степь, хорошо голубое небо, которое опрокинулось надъ ней бездоннымъ куполомъ, хороши звъздныя степныя ночи, но лучше всего новый кошъ *) стараго Хайбибулы, въ которомъ онъ живетъ вмъстъ съ своей старухой Ужипой и молоденькой дочкой Гольдзейнъ. Такъ думаетъ молодой Баймаганъ работникъ Хайбибулы, думаетъ и поетъ:

Въ небъ звъзды
И въ кошмъ Хайбибулы звъзды...
Тамъ и ночью свътить солнце!
А въ головъ Баймагана
Мысли, какъ птицы.

— У меня много—много мыслей, и всё он'ь, какъ степной ковыль, гнутся въ одну сторону,—говорилъ Баймаганъ, когда они вмёстё съ дру-

^{*)} Кошъ-круглая киргизская палатка изъ войлока.

гимъ работникомъ Урмугузомъ насли косякъ кобылицъ.—У Хайбибулы всего много... Старая лисица катается, какъ сыръ въ маслѣ, а я ничего не возьму за свои мысли, Урмугузъ.

— Дуракъ ты, Баймаганъ... лѣниво отвѣчаетъ Урмугузъ, покачиваясь на высокомъ киргизскомъ сѣдлѣ.—Какія мысли могутъ быть у такихъ бѣдняковъ, какъ мы съ тобой... Ты глупъ, Баймаганъ, а Хайбибула уменъ... У Хайбибулы двѣсти лошадей ходитъ въ степи, у Хайбибулы нятъ лучшихъ иноходцевъ, у Хайбибулы новый кошъ, цѣлый сундукъ съ деньгами и красавина дочь. У бѣдныхъ людей должна быть одна мыслъ: не лечь голодному снать.

Обидно Баймагану слушать такія слова своего пріятеля, который никогда ни о чемъ не думаєть, точно киргизскій баранъ. Да, Баймаганъ бѣднякъ, но это не мѣшаєть ему видѣть и слышать то, чего не видить одинъ Урмугузъ.

У Баймагана каждый разъ дрогнетъ сердце, какъ подстръленная птица, когда онъ вечеромъ съ косякомъ кобылицъ возвращается къ конамъ. Издали эти коши, точно потерянныя въ степи шанки, одна большая и двъ маленькихъ. Изъ большой въ холодныя ночи весело поднимается синій дымокъ—это старая Ужина въчно что нибудь стряпаеть, чтобы угодить мужу. Вотъ

около этого огонька въ кошѣ старой лисицы Хайбибулы и бьется молодое сердце бѣдняка Баймагана, потому что вмѣстѣ съ дымомъ по вечерамъ изъ коша несется пѣсня красавицы Гольдзейнъ.

II.

У Хайбибулы новый кошъ, который стоитъ рублей пятьсотъ,—онъ изъ лучшихъ бѣлыхъ кошемъ, а внутри по стѣнамъ развѣшаны дорогіе бухарскіе ковры. Тутъ же стоятъ сундуки, набитые всякимъ добромъ—рубахами, бешметами, халатами. У Гольдзейнъ свой сундукъ, весь обитый бѣлой жестью, точно серебряный; въ немъ копится приданое для того счастливца, которому достанется Гольдзейнъ.

— Кто дасть калымъ въ сто лошадей и пятьсоть рублей деньгами, тому и отдамъ Гольдзейнъ,—хвастается Хайбибула, когда съ гостями напьется кумыса.—Будь хоть безъ головы женихъ, мнѣ все равно... Сто лошадей и пятьсоть рублей деньгами.

Пьяный Хайбибула непремённо бранится съ женой и каждый разъ новторяеть.

ты мив надовла, Ужипа... Вотъ получу калымъ за Гольдзейнъ и прямо съ дены ами по-

ъду подъ Семипалатинскъ: тамъ въ кошахъ живутъ два брата, Кошгильда и Яшгильда, богатые киргизы, и у обоихъ по молоденькой дочери. Которую хочу, ту и возьму, а тебъ старой клячъ, пора отдохнуть.

Когда Гольдзейнъ весело распъваетъ свои пъсни, старая Ужипа горько плачетъ, потому что Хайбибула непремънно женится на молоденькой и сживетъ ее, Ужипу, со свъту. Онъ ужъ двухъ женъ въ гробъ заколотилъ, а она—третья и ее заколотитъ. Старый волкъ любитъ молодую козлятину и погубить человъка ему ничего не стоитъ, а всъ считаютъ его хорошимъ, ласковымъ мужемъ.

— Лучше ужъ мнѣ самой умереть...—думаеть Ужипа, думаеть и плачеть, вспоминая молодое время, когда щеки у ней были румяныя, глаза свѣтились, сама была толстая да бѣлая, и когда Хайбибула говориль ей льстивыя, ласковыя рѣчи.

Скоро износилась красота Ужипы. Безсонныя ночи, работа, дѣти и мужнины побои развѣяли по вѣтру дѣвичью красоту, а Хайбибула ее же попрекаеть дорогимъ калымомъ.

Никто не жалбеть старухи, а Гольдзейнъ нарочно отвертывается, чтобы не видать слезъ матери. Глуная двака только и думаеть, чтобы поскоръй выскочить замужь за богатаго жениха, а родная мать ей хуже чужой.

Когда-то пьяный Хайбибула сильно избиль Ужипу, и она едва вырвалась отъ него. Убъжала и спряталась за кошемъ. Ночь была темная, а на душъ Ужипы было еще темнъе. Стала она просить себъ смерти, потому что никомуникому, ни одному человъку не жаль ея.

- Эй, Ужипа, не плачь—прошепталь нады самымъ ухомъ старухи знакомый голосъ.
 - Это ты, Баймаганъ?
- Я, я все вижу и знаю. Погоди, воть женюсь на Гольдзейнъ, тогда и тебя возьму къ себъ. Славно заживемъ...
- Да ты съ ума сошель?.. У тебя ничего нъть...
- Э, погоди, все будетъ... Старая лисица Хайбибула самъ будетъ ухаживать за мной. Вотъ я какой человъкъ, Ужипа!

Это ласковое слово глупаго парня согрѣло душу Ужипы, какъ солнечный лучъ, и ей сдѣлалось жаль Баймагана:—Аллахъ великъ, у Аллаха всего много, что стоитъ Аллаху броситъ росинку счастья на Байгамана? Все можетъ быть...

 Слушай Байгаманъ, никогда-никогда не женись на Гольдзейнъ, шептала старая Ужипа:— въ ней волчья кровь... Женись лучше на Макенъ: вотъ мой совъть за твое доброе слово къ позабытой всъми старухъ.

III.

Около коша Хайбибулы въ сторонъ стояли два старыхъ, дырявыхъ коша, въ которыхъ жили пастухи и работники. Въ одномъ жилъ кривой пастухъ Газизъ съ дочерью Макенъ, а въ другомъ Баймаганъ съ Урмугузомъ. Очень бъдно было въ кошъ Газиза, а у Баймагана съ Урмугузомъ совсъмъ ничего не было, кромъ хозяйскихъ съделъ да разной сбруи. Спали оба работника на лошадиныхъ потникахъ. Сквозъ прогоръвшія кошмы пекло солнце и лился дождь, точно Аллахъ хотълъ каждый день испытывать терпъне молодыхъ пастуховъ.

Все хозяйство Газиза вела Макенъ, и она же постоянно помогала старой Ужипѣ, точно работница, хотя скупой Хайбибула не платилъ ей ни гроша, развѣ когда подаритъ обноски послѣ Гольдвейнъ. Макенъ работала, какъ лошадь, и ходила чуть не въ лохмотьяхъ. За работой она пѣла такія печальныя пѣсни и каждый разъ смолкала, когда мимо проходилъ Баймаганъ.

- Онъ хорошій человѣкъ,—говорила Ужина, не называя Баймагана по имени.
- Хорошъ, да не для меня... отвъчала Макенъ и тяжело вздыхала.

мудрено устраиваеть человъческія дъла: Урмугузъ любилъ Макенъ, Макенъ любила Баймагана, а Баймаганъ любилъ гордую Гольдзейнъ. Баранчуками *) они всё росли вмёсть, а потомъ вышло вотъ что. Старый Газизъ видълъ все это, но молчалъ, потому что Аллахъ ведикъ и знаеть дучше насъ, какъ и что делать. Урмугузъ думалъ про себя, что Макенъ первая красавица во всей киргизской степи, и что Гольдзейнъ приворожила глупаго Баймагана своими пъснями и богатыми нарядами. Въ праздники Гольдзейнъ всегда щеголяла въ шелковомъ полосатомъ бешметъ, заплетала свои черные волосы въ мелкія косички, въ уши надівала дорогія тяжелыя серыги, а всю грудь увъшивала золотыми монетами, которыя серебряными и такъ весело звенъли у ней на ходу.

Баймаганъ подол у смотрълъ на нее съ разинутымъ ртомъ или старался чъмъ нибудь услужить. Гордая красавица совсъмъ не замъчала

^{*)} Баранчукъ-ребенокъ, дитя.

Баймагана и только иногда любила посм'яться надъ нимъ, особенно когда тутъ же была Макенъ.

— Баймаганъ, скоро у тебя будеть сто лошадей и иятьсотъ рублей денегъ?—спранивала Гольдзейнъ, толкая Макенъ локтемъ.—Смотри, мнѣ, пожалуй, надоѣстъ ждать, и я какъ разъ выйду за другаго... У меня ужъ есть три жениха.

Гольдзейнъ весело смѣялась, а у Баймагана замирало сердце отъ этого смѣха. И чѣмъ больше она смѣялась надъ нимъ, тѣмъ больше онъ ее любилъ.

Проклятыхъ сто лошадей бъдный пастухъ часто видълъ во снъ, а деньги даже искалъ у себя подъ изголовьемъ. Перестала-бы Гольдзейнъ смъяться надъ нимъ, когда бы онъ принесъ Хайбибулъ пятьсотъ рублей старыми серебряными монетами и выставилъ въ полъ свой собственный косякъ лошадей... Всего сто лошадей и пятьсотъ рублей. Баймаганъ день и ночь сталъ думать, какъ добыть дорогой калымъ, похудълъ и ходилъ, какъ въ воду опущенный.

Хайбибула прежде самъ былъ бъденъ, и вся стень знаетъ, откуда пришло его богатство: онъ сначала самъ воровалъ лошадей по казачьей уральской линіи, а потомъ сталъ только сбывать краденый скотъ.

— Это люди болтають изъ зависти, говориль кривой Газизъ.—Аллахъ все видить...

IV.

Баймаганъ возненавидёль Хайбибулу и за глаза бранилъ его самыми скверными словами. Тутъ доставалось и толстому брюху Хайбибулы, и его красному носу, и сёдой головё, которая думала о молоденькихъ дёвчонкахъ. Когда въ урочные часы старикъ выходилъ изъ коша на молитву, разстилалъ подъ ноги коврикъ и надалъ ницъ, приложивъ раскрытые ладони къ ушамъ, Баймаганъ испытывалъ глубокое чувство отвращенія къ этому старому ханжѣ, который хочетъ обмануть самого Аллаха.

— Кажется, я убиль бы эту старую лисину!—говориль Баймагань своему другу Урмугузу.—Его деньги нажиты кровью, онъ загубиль двухь первыхъ женъ, теперь губить третью и хочеть жениться на четвертой, чтобы согръть свою старую волчью кровь молодой... О, какъ я ненавижу этого Хайбибулу!

Хитрый старикъ замѣтилъ косые взгляды Баймагана и время отъ времени любилъ подшутить надъ нимъ. Безсильная злоба бѣдняка забавляла Хайбибулу.

Разъ въ правдникъ, когда въ кошъ и передъ

кошемъ сидъли гости, Хайбибула сказалъ Бай-магану:

— Баймаганъ, покажи гнѣдаго иноходца гостямъ... Впрочемъ, у тебя заячье сердце, пусть приведетъ лошадь Урмугузъ.

Это было сказано нарочно, чтобы подзадорить Баймагана и потёшить гостей отчаянной скачкой. Гиёдой иноходець быль еще не объезженная лошадь и никого не пускаль на себя. Обида засёла глубоко въ сердцё Баймагана и онъ захотёль показать передъ всёми, что ничего не боится, и что Хайбибула напрасно его обижаеть.

Иноходца едва поймали на два волосяныхъ аркана, подвели къ кошу, и Баймаганъ птицей сълъ на спину дрожавшей отъ страха лошади.

— Смотри, упадешь!—крикнуль въ слѣдъ Хайбибула.

Началась самая отчаянная скачка на необъвзженной лошади, старавшейся сбить свдока. А Баймаганъ видвлъ только улыбавшееся лицо Гольдзейнъ, которая смотрвла на него изъ коша вмъстъ съ гостями. Да, онъ приведетъ лошадь къ кошу смирную, какъ овечку, или ему не видать Гольдзейнъ, какъ своихъ ушей.

Лошадь и человъкъ боролись отчаянно нъ-

сколько часовъ. Баймаганъ уже чувствовалъ, что лошадь начинаетъ уставать и скоро будетъ въ его рукахъ, какъ ребенокъ. Но въ этотъ моментъ она сдёлала неожиданный прыжекъ въ сторону и Баймаганъ слетёлъ на землю. Все это случилось въ одну секунду, бёшенное животное съ удвоенной силой понеслась въ степь, стараясь освободиться отъ тащившагося на арканѣ наёздника. Баймаганъ крёпко держалъ веревку обёмми руками и рёшился лучше умереть, чёмъ выпустить лошадь.

Черезъ полчаса иноходецъ прибъжалъ одинъ, а Баймагана нашли въ степи безъ чувствъ. Онъ лежалъ весь избитый, голова, лицо и плечи были покрыты глубокими ранами отъ лешадиныхъ копытъ.

V.

Баймаганъ лежитъ въ своемъ дырявомъ кошъ. За нимъ ухаживаетъ старая Ужипа, которая знаетъ много хорошихъ степныхъ травъ. Иногда въ кошъ завертываетъ Макенъ и молча садится у входа. Больной никого не узнаетъ и все бредитъ.

Ему ужасно тяжело и все кажется, что онъ скачеть на проклятомъ иноходиъ. Лошадь бьетъ

его задними ногами прямо въ голову, и Баймаганъ страшно вскрикиваетъ. Долго-долго носитъ его по степи взбъсившійся иноходецъ, а когда онъ открываетъ глаза, то видитъ надъ собой дырявую кошму своего коша и слышитъ, точно сквозъ сонъ, голосъ Ужипы:

— Не шевелись, Баймаганъ... Будешь живъ, если не будешь шевелиться. Все идетъ хорошо.

Баймаганъ старается лежать спокойно, хотя ему ужасно хочется приподнять голову—въ кошѣ кто то тихо плачеть, а кому плакать о немъ, о кругломъ сиротѣ? Ахъ, зачѣмъ онъ не умеръ тамъ, въ степи, гдѣ носилъ его иноходецъ!..

Потомъ Баймагану вдругъ сдѣлалось такъ легко и такъ хорошо, совсѣмъ хорошо. Онъ здоровъ. Нѣтъ, будетъ ужъ служить старой лисицѣ Хайбибулѣ!—Прощайте всѣ: и кривой Газизъ, и Урмугузъ, и Макенъ, и Ужипа... Съ Гольдзейнъ Баймаганъ не простился, потому что слишкомъ ему было бы тяжело видѣть ен насмѣшливую улыбку.

— Э, увидимся! — утѣшаеть самого себя Баймаганъ, направляясь въ степь, гдѣ тамъ и сямъ торчали киргизскіе коши, точно бритыя татарскія головы въ тюбютейкахъ. — Надо жить, какъ старая лисица Хайбибула.

Баймаганъ скоро нашелъ себѣ работу—онъ сдѣлался отчаяннымъ барантачомъ. По степи онъ отбивалъ овецъ у гуртовщиковъ, у казаковъ и русскихъ угонялъ лошадей, и вездѣ стали бояться одного его имени. Нѣсколько разъ онъ попадался и его били прямо по головѣ, точно всѣ знали, гдѣ у него самое больное мѣсто.

Черезъ нѣсколько лѣтъ такой работы у Баймагана былъ готовъ весь калымъ за Гольдзейнъ, и онъ орломъ полетѣлъ къ старому Хайбибулѣ.

- .— Вотъ твой калымъ, объявилъ Баймаганъ, высыная передъ старикомъ старое серебро.
- Ты умный человѣкъ, задумчиво говориль Хайбибула, пересчитывая деньги. Ну, Гольдзейнъ твоя... Такой красавицы до Семипалатинска не найти. Что же, твое счастье, а я очень радъ. Макенъ тоже вышла замужъ за Урмугуза, я и калымъ платилъ за него. Давай, поцѣлуемся.

VĮ.

Рядомъ съ кошемъ Хайбибулы выросъ новый кошъ Баймагана. Въ послѣднемъ жилось очень весело. Гольдзейнъ по цѣлымъ днямъ

расп'явала свои п'ясни, Баймаганъ лежалъ на ковр'я и пилъ кумысъ. Когда ему надойло гулять одному, онъ носылалъ за Хайбибулой и угощалъ старика.

— Ты умный человікь, Баймагань, повторяль каждый разь Хайбибула и улыбался старымь беззубымь ртомь.—Старь я сталь... Воть и борода сідая, и глаза слезятся, и зубы пропали. А когда то я умізь наживать деньги. Надо тебі показать всі норы и лазейки, а мніз пора отдохнуть.

И старая лисица Хайбибула училь Баймагана всякимъ плутнямъ, называлъ всёхъ своихъ знакомыхъ и товарищей по ремеслу, а Баймаганъ слушалъ и удивлялся, что Хайбибула совсёмъ не такой дурной человёкъ, какъ онъ думалъ раньше. Даже очень хорошій человёкъ этотъ Хайбибула, если разобрать; а если онъ занимается воровствомъ, такъ не онъ одинъ грёшенъ передъ Аллахомъ.

Когда Хайбибула выгналь старую Ужипу и женился на четырнадцатильтней Аяшь, дочери Кошгильды, о которой давно говориль, и тогда Баймагань не обвиниль старика.—Хайбибула еще въ силахъ, а Ужипа едва волочить свои старыя ноги. Такъ хочеть Аллахъ, если одно дерево цвътеть, а другое сохпеть. Конечно,

Аяшъ молода для такого беззубаго старика, какъ Хайбибула, но старику ужъ немного осталось веселить свое сердце---пусть еще порадуется на концѣ своихъ дней.

Старая Ужипа пришла къ Баймагану и сказала:

- Мужъ меня прогналъ, а я стара... Помнишь, какъ ты об'вщалъ пріютить меня, если женишься на Гольдзейнъ?..
- Я этого не говорилъ, старая кляча!.. закричалъ Баймаганъ.—Это все ты сама придумала...

Баймагану было сов'єстно за свою ложь, и онъ еще сильн'єе разсердился.

— Не наше дѣло судить васъ съ отцомъ,— отвѣтила матери Гальдзейнъ, потакавшая мужу.
—Мы не желаемъ ни съ кѣмъ ссориться, а живите себѣ, какъ знаете.

Ничего не сказала старая Ужина и ушла. Ее пріютиль въ своемъ рваномъ кошть Урмугузъ.

— Мић ужъ за одно васъ стариковъ кормить,—проговорилъ онъ:—вонъ Газизъ живетъ, живи и ты.

Тъсно было въ кошт Урмугуза, но Макенъ нашла уголокъ для старуки, совсъмъ убитой горемъ. Это взбъсило Баймагана.

- Вотъ нашлись богачи!—ругался онъ.— Всъхъ полоумныхъ старухъ да стариковъ не накормишь.
- Урмугузъ, видно, богаче насъ съ тобой, —прибавила Гольдзейнъ. Не даромъ онъ столько лътъ служилъ у отца, а теперь служитъ у тебя. Видно ему выгодно, если можетъ кормить чужихъ людей.

Баймаганъ сильно разсердился на Урмугуза, но до поры до времени затаилъ въ своемъ сердит эту злобу. Урмугузъ нарочно взялъ къ себъ Ужипу, чтобы постоянно колоть ею глаза и ему, и Гольдзейнъ, и Хайбибулъ.

— Урмугузъ глупъ, — шептала Гольдзейнъ, ласкаясь къ мужу:—а это придумала Макенъ... О, это хитрая и злая женщина!

VII.

Киргизская степь была такъ же хороша, какъ десять лѣтт назадъ, также весной она покрывалась цвѣтами и ковылемъ, тотъ же игралъ по ней степной вѣтеръ, а зимой волкомъ завывали снѣжныя мятели; голубое небо такъ же высоко поднималось надъ ней, такъ же паслись по ней косяки киргизскихъ лошадей, а Гольдзейнъ позванивала своимъ серебромъ.

Хорошо жилось Баймагану. Всего у него было много, а когла наловлало сильть дома. онъ уважаль куда нибудь въ гости. У богатыхъ людей много хорошихъ знакомыхъ. Когда было лень ехать, Баймаганъ по целымъ днямъ лежаль въ кошт и думаль о разныхъ разностяхъ, Всего лучше ему дълалось, когда онъ вспоминалъ про свое дътство. Да, Баймаганъ выросъ у стараго Хайбибулы, какъ бездомная собаченка: спаль подъ открытымъ небомъ и питался объёдками, вмёстё съ хозяйскими собаками. Когда варили маханъ или салму *), Баймаганъ только облизывался издали и быль радъ, если на его долю доставалась обглоданная косточка, которую бросала ему добрая Ужипа. Эти воспоминанія дѣлали настоящее еще пріятнъе, и Баймаганъ нарочно приглашаль Хайбибулу всть салму, чтобы вспомнить про старое.

Однажды, когда они вдвоемъ сидѣли около чугуннаго котла съ салмой, старикъ хитро подмигнулъ, указывая головой на дочь.

- Ты ничего не замъчаешь, Баймаганъ? прошамкаль онъ.
 - Нѣтъ, а что?..



^{*)} Салма—лапша изъ конины, маханъ—жареное изъ жеребенка.

— Я ничего, такъ... Будто Гольдзейнъ у тебя постаръла. Она будеть вылитая Ужипа. Воть увидишь... А Макенъ молодъетъ. Впрочемъ, на чужихъ женъ не хорошо заглядываться... Я такъ сказалъ. Ну, прощай...

Эти слова глубоко запали въ душу Баймагана, хотя онъ старался о нихъ совсемъ не думать. Разъ онъ больно прибилъ Гольдзейнъ, и когда она стала плакать въ своемъ углу, онъ занесъ было руку съ нагайкой, чтобы ударить ее по спинъ, но взглянулъ на ея заплаканное лицо, испуганные глаза—и рука съ нагайкой безсильно опустилась сама собою: на него смотръла старая Ужипа, а Гольдзейнъ, красавицы Гольдзейнъ больше не было.

Баймаганъ началъ часто напиваться кумысомъ, билъ жену и все ходилъ около коша, чтобы хоть издали посмотръть на Макенъ. Урмугуза онъ нарочно посылалъ въ дальнія киргизскія стойбища, съ разными порученіями, чтобы не стыдно было заходить въ его старый кошъ подъ разными предлогами.

Макенъ стала прятаться отъ Баймагана, а это еще больше разжигало въ немъ кровь. Чтобы показать ей свою любовь, Баймаганъ не упускалъ случая на ея глазахъ бить Гольдзейнъ по чему попало, а потомъ отнялъ у жены вст

украшенія и спряталь ихъ въ свой сундукъ. Криваго Газиза онъ поилъ самымъ хорошимъ кумысомъ и называлъ дядей. А Гольдзейнъ отъ нобоевъ и слезъ дѣлалась все больше похожей на свою мать, и Баймаганъ старался не смотрѣть на нее.

— Надо избыть Урмугуза, а потомъ я женюсь на Макенъ, когда она останется вдовой, подумаль Баймаганъ.—Гользейнъ пусть служить ей, какъ раба...

VIII.

Урмугуза не стало. Много такъ пропадаетъ въ степи. Чужіе люди обвиняли Баймагана, что онъ подослалъ убійцъ къ своему работиць, а самъ женился на его вдовъ.

А Баймаганъ ничего не хочеть знать, что говорять про него люди. Онъ по цълымъ днямъ лежить на коврѣ вмѣстѣ съ Макенъ, а Гольдзейнъ прислуживаеть имъ, старая некрасивая Гольдзейнъ. Но Макенъ такая печальная, и Баймагана тянетъ выйти изѣ коша; рядомъ въ кошѣ стараго Хайбибулы каждый разъ на шумъ его шаговъ отодвигается край ковра, которымъ прикрытъ входъ, и оттуда смотрятъ прямо въ душу Баймагана два темныхъ глаза,

а изъ-за бълыхъ зубовъ сындется беззаботный дътскій смъхъ. Это молодая Аяшъ смотрить на Баймагана, и у него темнъетъ въ глазахъ.

— Обмануль меня Хайбибула, — думаеть онъ: — Макенъ все думаеть о своемъ Урмугузъ... Ей скучно со мной.

Не спится по ночамъ Баймагану, а вмёсть съ ночнымъ холодомъ ползетъ къ нему въ кошъ ласковый дъвичій шепотъ, — о, онъ знаетъ этотъ голосъ, который хватаетъ его прямо за сердце! Нужно было отправить на тотъ свътъ не Урмугуза, а старую лисицу Хайбибулу. Будетъ ему гръщить, а Аяшъ еще молода.

Темнѣе ночи ходитъ Баймаганъ и все думаетъ о старикѣ Хайбибулѣ — можетъ быть, старая лисица самъ догадается умереть.

Отточилъ острый ножъ Баймаганъ и ночью, какъ змѣя, заползъ съ нимъ въ кошъ Хайбибулы. Вотъ ужъ онъ слышитъ ровное дыханіе снящей Аяшъ, а рядомъ съ ней на постели, нодъ шелковымъ бухарскимъ одѣяломъ, храпитъ Хайбибула. Баймаганъ подползъ къ изголовью и замахнулся, чтобы ударить Хайбибулу прямо въ сердце,—онъ приглядѣлся къ темнотѣ и теперь хорошо различалъ спавшихъ,— но, заглянувъ въ лицо старику, Баймаганъ остолбенѣлъ: это лицо смѣялось своимъ беззу-

бымъ ртомъ, а старческіе слезившіеся глаза смотрѣли на него въ упоръ.

— Ну, чего ты испугался?..—шепчеть Хайбибула, а самъ все смъется и смотрить на него.—Дълай то, за чъмъ пришелъ...

Страшная ярость закипъла въ груди Баймагана, хочетъ онъ поднять руку съ ножемъ, но у него нътъ больше силы,—рука виситъ, какъ плеть.

— Убиль Урмугуза, убивай и меня,—шепчеть Хайбибула.—Аяшь моложе твоихь женъ... Ты умный человъкь, Баймаганъ. Ха-ха-ха...

Эти слова ударили Баймагана прямо въ голову, и онъ почувствовалъ, какъ на его головъ открываются старыя раны отъ лошадиныхъ копытъ, и какъ онъ самъ начинаетъ весь леденътъ. Жизнь быстро выходитъ изъ него вмъстъ съ горячей кровью, а старый Хайбибула дълался все дальше и дальше, и только далекодалеко, точно изъ-подъ земли, доносился его страшный дребезжавшій смѣхъ и тотъ же шепотъ:

— О, ты умный человъкъ, Баймаганъ!..

Баймаганъ крикнулъ, объятый ужасомъ, и самъ испугался своего голоса, точно это кричалъ не онъ, а какой то другой голосъ.

-- Тише, тише... не шевелись, Баймаганъ,--

шепталъ надъ нимъ голосъ старой Ужипы, и чьи-то руки удерживали его голову.

IX.

- Такъ это былъ сонъ?..—спрашивалъ Баймаганъ, когда пришелъ въ себя и увидѣлъ, что по прежнему лежитъ въ своемъ дырявомъ кошѣ, а около него сидитъ старая Ужипа и уговариваетъ его, какъ ребенка.
- Ты сорваль повязки съ головы и чуть не истекъ кровью...—шептала ласково старуха.
 —Отчего ты такъ страшно крикнуль?..
- Не спрашивай... послѣ разскажу. Я дурной человѣкъ... я хуже всѣхъ другихъ, Ужипа.

Баймаганъ поправился, но сдълался такимъ задумчивымъ и печальнымъ, что никто не узнавалъ въ немъ прежняго молодца.

- О чемъ ты думаешь, Баймаганъ?—спрашивала его Макенъ.
- Дорогая Макенъ, прежде я думалъ всегда о себъ, отвъчалъ ей Баймаганъ: думалъ, какъ бы мнъ устроиться лучше другихъ. А теперь мнъ жаль всъхъ людей, потому что я все ви-

жу и все понимаю... Да, я нопимаю все и понимаю то великое зло, какое сидить въ каждомъ человъкъ и обманываетъ всъхъ. Мнъ иногда дълается страшно за то зло, которое и въ насъ и вокругъ насъ. Я былъ глупъ и ничего не понималъ, но за одно доброе слово, которое я сказалъ несчастной старухъ, Аллахъ показалъ мнъ мою собственную душу.

Черезъ годъ Баймаганъ женился на Макенъ.

перепри жантыгая.

T.

— Гдѣ хакимъ *) Бай-Сугды? Гдѣ лебедь Хантыгая?—спрашивалъ Бурунъ-Ханъ своихъ придворныхъ.—Отчего мои глаза не видятъ славу и гордость моего государства? Гдѣ онъ, слеза радости, улыбка утѣшенія, свѣтъ совѣсти—гдѣ хакимъ Бай-Сугды, лебедь Хантыгая?

Мурзы, беки, шейхи, тайши и князьки, присутствовавшіе въ палаткъ Бурунъ-Хана, опустили головы и не смъли взглянуть на своего повелителя, точно они всъ чувствовали себя виповатыми. Въ сущности, они просто боялись огорчить Бурунъ-хана печальнымъ извъстіемъ и вызвать его неудовольствіе.

— Отчего вы всѣ молчите?—спрашиваль Бурунъ-Ханъ, грозно сдвигая сѣдыя брови.—Отчего никто изъ васъ не хочетъ сказать правды?..

^{*)} Хакимъ-ученый, учитель.

Впрочемъ, это смѣшно—требовать правды отъ людей, которые хотятъ замѣнить мнѣ и мои глаза, и мои уши, и мои руки, чтобы лучше пользоваться моей слѣпотой, глухотой и бездѣятельностью... Одинъ хакимъ Бай-Сугды говорилъ мнѣ правду, а я не вижу его.

Еще ниже наклонились старыя и молодыя головы мурзъ, бековъ, тайшей и князьковъ, и опять никто не посмълъ проронить ни одного слова. Тогда смъло выступила впередъ красавица Джетъ, любимая дочь Бурунъ-Хана, и преклонивъ одно колъно, сказала:

— Отецъ мой, прости мнѣ мою смѣлость, что я рѣшилась сказать тебѣ то, о чемъ молчать другіе...

Съдыя ханскія брови распрямились, морщины на ханскомъ лбу исчезли, грозные ханскіе глаза глянули весело: развъ найдется такой человъкъ, который можетъ разсердиться на красавицу Лжетъ?

- Говори, Джетъ, моя газель.
- Отецъ, хакимъ Бай-Сугды уже давно совсёмъ измёнился, такъ что ты его не узнаешь... Онъ больше ужъ не складываетъ своихъ чудныхъ пъсенъ, которыя распъваетъ весь Хантыгай. Да... Хакимъ Бай-Сугды заперся въ своей палаткъ и пикуда не выходитъ. Вотъ уже пол-

года, какъ онъ заскучалъ, а его жены проплакали свои глаза... Кто-то попортилъ солнце Хантыгая, и оно скрылось за тучу.

Ханъ опять нахмурился и вельль привести хакима Бай-Сугды, а красавица Джеть помъстилась за шелковой занавъской. Когда старый хакимъ, съ длинной съдой бородой, вошелъ въ палатку, дъвушка тихо заиграла на золотой арфъ и заиъла самую лучшую пъсню, какую только когда-нибудь сложилъ Бай-Сугды:

Алой розой смѣхъ твой запертъ, Соловьиной пѣсни трепетъ На груди твоей таится...

Никто въ цѣломъ Хантыгаѣ не умѣлъ пѣтъ лучше Джетъ, и всѣ лица повеселѣли, а Бурунъ-Ханъ посмотрѣлъ на хакима съ улыбкой. Улыбнулись и мурзы, и беки, и шейхи, и тайши, и князьки, какъ живое зеркало Бурунъ-Хана. Одинъ хакимъ Бай-Сугды стоялъ передъ ханомъ, опустивъ глаза, и на сѣдыхъ рѣсницахъ у него повисли слезы.

— Хакимъ Бай-Сугды, лебедь Хантыгая, что сдълалось съ тобой?—спросиль Бурунъ-Ханъ.— Никто тебя не видитъ... Можетъ быть, у тебя есть какое-нибудь горе? Можетъ быть, износилось твое платье? Можетъ быть, твои стада по-

стигло несчастіе? Можеть быть, наконець, ты недоволенъ мной?..

Поднялъ голову хакимъ Бай-Сугды и сказалъ:

- Всёмъ я доволенъ, Бурунъ-Ханъ, и все у меня есть, даже больше, чёмъ нужно одному человеку... Я, какъ пылинка въ солнечномъ лучъ, купаюсь въ твоей милости.
- Можеть быть, похолодёло твое сердце, хакимъ Бай-Сугды, и нужна новая пара газельихъ глазъ, чтобы воскресить въ немъ молодую радость?..
- О, Бурунъ-Ханъ, у меня семь женъ, семь красавицъ, и мнѣ достаточно молодыхъ радостей,—съ горькой усмѣшкой отвѣтилъ сѣдой хакимъ.
- Что же тебѣ нужно, Бай-Сугды? Просивсе и я все сдѣлаю для тебя... Ты выше меня, потому что я сейчасъ ханъ, а завтра меня съѣдять черви, а ты умрешь—послѣ тебя останутся живыя чудныя пѣсни... Хановъ много, а хакимъ Бай-Сугды—одинъ.
- Бурунъ-Ханъ, у меня есть къ тебъ просьба: пусть красавица Джеть не поетъ больше монхъ пъсенъ.. И пусть другія дѣвушки ихъ позабудуть. Когда птица поетъ беззаботно, сидя на въткъ, она не предчувствуетъ близкой бѣды, пе видитъ коршуна, который ее схватитъ. Моя зима

пришла, а мой коршунъ уже летаетъ надъмоей головой, и я чувствую, какъ въють его ирылья...

- Неужели ты, мудръйшій изъ людей, испугался смерти?
- Нътъ, ханъ, не смерти я боюсь, а того, зачемъ я жилъ такъ долго... Мое слапкое безумство пъло пъсни, а ненасытное сердце искало новыхъ радостей. Но теперь нъть больше пъсенъ... Давно углубился я въ ученыя книги, въ это море мудрости, и чёмъ дальше углубляюсь въ нихъ, тъмъ сильнъе чувствую, сколько зла я надёлаль своими песнями. Я обманываль ихъ сладкимъ голосомъ и молодыхъ, и старыхъ людей, я сулилъ имъ никогда не существовавшія радости, я усыпляль душу запахомъ розъ, а вся наша жизнь только колеблющаяся твнь промелькнувшей въ воздукв птицы... Горя, несчастій, нужды и бользней цьлыя моря, а я утыналь и себя, и другихъ одной каплей сладкой отравы. Мои пъсни теперь нагоняють на меня тоску. Бурунъ-Ханъ, чъмъ больше читаю я мудрыя книги, тъмъ сильнъе вижу собственное безумство... Отпусти меня, ханъ! Я пойду въ другія государства и найду великихъ подвижниковъ, которые цёлую жизнь провели въ созерцаніи и размышленіяхъ: у нихъ истина жизни, которой я хочу поучиться. Воть, моя вторая просьба...

Задумался Бурунъ-Ханъ: жаль ему стало пъвца Бай-Сугды, славу и гордость Хантыгая. Что же останется, когда улетить этотъ лебедь? Но хакимъ Бай-Сугды такъ сильно измънился, и путешествіе будетъ для него лучшимъ лекарствомъ.

— Хорошо, хакимъ Бай-Сугды, пусть будетъ по твоему, — согласился Бурунъ-Ханъ. — Иди, куда хочешь, но только возвращайся, а пока ты путешествуешь—въ Хантыгаѣ не будутъ пѣть твоихъ пѣсенъ. Иди, отыщи истину и принеси ее намъ...

II.

Ханство Хантыгай было очень большое, но въ немъ хакимъ Бай-Сугды не зналъ никого, кто-бы былъ его ученъе. Онъ быстро собрался въ путь, нагрузилъ трехъ верблюдовъ всъмъ неоходимымъ для далекаго путешествія, взялъ десять человъкъ слугъ и отправился въ сосъднее ханство Чубарайгыръ, гдъ жилъ знаменитый хакимъ Тююзакъ.

Цълыхъ три недъли шелъ караванъ до границы. Хантыгай и Чубарайгыръ много лътъ воегали между собой, разрушали города, пустощили населенныя мъстности, убивали тысячи людей и тысячи людей уводили въ плънъ. Счастье

было измѣнчиво, а война прекращалась только тогда, когда войска изнемогали, запасы истощались, и общая нищета заставляла мириться на время. Ханы увѣряли другъ-друга въ дружбѣ, а сами потихоньку готовились къ новой войнѣ, чтобы напасть врасплохъ. Поэтому, когда караванъ хакима Бай-Сугды показался на границѣ, то оберегавшая ее стража сейчасъ же схватила верблюдовъ, а самого Бай-Сугды объявила плѣнникомъ чубарайгырскаго хана Майчака. Плѣнника представили прямо къ хану, но когда Майчакъ узналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло и зачѣмъ хакимъ Бай-Сугды заѣхалъ въ его государство, то предложилъ ему богатые дары и отпустилъ.

— Твои пѣсни, хакимъ, открываютъ тебѣ вездѣ счастливый путь,—сказалъ ханъ Майчакъ, счастливый, что видѣлъ знаменитаго пѣвца.— Еслибы у меня былъ твой даръ, я бросилъ бы свое ханство. Богъ тебя да благословитъ. На обратномъ пути не забудь навѣстить меня.

Отправился хакимъ Бай-Сугды дальше. Ему нужно было пробхать опасную Голодную степь, гдв торговые караваны подвергаются нападенію степныхъ разбойниковъ. Такъ случилось и съ нимъ. На третій день пути караванъ хакима былъ окруженъ разбойниками. Они перевязали слугъ и принялись развязывать тюки. Хакимъ

Бай-Сугды не сопротывлялся, а спокойно смотрълъ на ихъ работу. Это удивило разбойниковъ.

- Развѣ тебѣ не жаль своего добра?—спросили они.—Кто ты такой?..
 - Я хакимъ Бай-Сугды изъ Хантыгая.
 - Лебедь Хантыгая?..

У разбойниковъ опустились руки. Они на зъючили снова верблюдовъ, развязали слугъ и, не воспользовавшись ничѣмъ, отпустили знаменитаго пѣвца.

— Мы грабимъ только купцовъ и богатыхъ людей, —объяснили они въ смущении. —Будетъ проклятъ тотъ человъкъ, который вырветъ хотъ. одно перо изъ бълаго крыла лебедя Хантыгая... Твои пъсни открываютъ тебъ счастливый путъ.

Когда караванъ тронулся въ путь, одинъ изъ разбойниковъ запълъ:

Алой розой смёхъ твой заперть, Соловьиной пёсни трепетъ На груди твоей таится...

Опять та-же пѣсня, и опять она огорчила хакима Бай-Сугды до глубины души, напоминая ему о его прошломъ безуміи, преслѣдовавшемъ его всюду, какъ бѣжитъ тѣнь за человѣкомъ.

- О, это мое проклятіе! - думаль хакимь Бай-

Сугды, закрывая глаза. — Моя пѣсня преслѣдуеть меня черной тѣнью.

За Голодной степью начинались дикія горы, въ которыхъ жилъ Тююзакъ. Съ величайшимъ трудемъ достигъ караванъ до глубокой горной долины, гдё жилъ славный хакимъ. Жилищемъ ему служила пещера, выкопанная въ горѣ. Путешественники нашли отшельника на берегу горнаго ключа: здёсь онъ предавался созерцанію. Хакимъ Бай-Сугды подошель къ нему и по-клонился.

— Хакимъ Тююзакъ, я прищелъ къ тебъ издалека, чтобы напиться отъ ключа твоей мудрости...

Тююзакъ съ удивленіемъ посмотръль на пришельца своими столътними глазами и строго проговорилъ:

— Мудрость не возять на верблюдахъ... Мудрость не нуждается въ пышной одеждъ. Ты только напрасно потерялъ свое время...

Два дня провель Бай-Сугды у Тююзака въ душевной бесъдъ. Онъ разсказалъ отщельнику всю свою жизнь: какъ онъ быль молодымъ и бъднымъ байгушемъ и какъ прославился на весь Хантыгай даромъ пъсенъ; какъ осыпалъ его богатствомъ и почестями Бурунъ-Ханъ, какъ онъ самъ возгордился своими пъснями, которыя рас-

пъвалъ весь Хантыгай, и какъ онъ въ концъконцовъ задумался, зъчъмъ онъ прожилъ свою жизнь, и какъ ошибся, принимая за счастье его обманчивую тънь. Столътній Тююзакъ, съ пожелтъвшими отъ старости волосами, выслушаль его внимательно и сказалъ:

— Вся твоя бъда въ томъ, Бай-Сугды, что ты свое счастье искалъ въ чемъ-нибудь внѣшнемъ. Ты радъ-бы былъ захватить всѣ стада Хантыгая, все золото, все платье, всѣхъ красивыхъ женщинъ. Но, въдь, ты не поъдешь на десяти лошадяхъ разомъ, не надѣнешь десять халатовъ, не съѣшь и не выпьешь за десятерыхъ. Твое богатство тебя давило, какъ ярмо... Воть и теперь, зачѣмъ тебѣ эти верблюды, слуги, тюки съ имуществомъ? Не легче-ли тебѣ идти одному и думать только о себѣ?

— Ты правъ, Тююзакъ, — согласился Бай-Сугды. — Жаль, что я раньше не подумалъ объ этомъ.

Онъ раздълилъ свое имущество между слугами и отпустилъ ихъ домой.

— Бай-Сугды, ты сдѣлалъ еще не все,—сказалъ Тююзакъ:—ступай въ ханство Шибэ, тамъ живетъ мудрѣйшій изъ хакимовъ, Урумчи-Олой... Онъ тебя научить всему.

Отб ханства Хантыгая до ханства Чубарай-

гыра хакимъ Бай-Сугды вхалъ три недвли, отъ хана Майчака до хэкима Тююзака онъ вхалъ тоже три недвли, а отъ хакима Тююзака до хакима Урумчи-Олой онъ уже шелъ пвшкомъ цвлыхъ три мвсяца. На немъ оставалась самая простая одежда изъ верблюжьей шерсти, какую носили бвдные пастухи, а за плечами въ тяжелой котомкв онъ несъ необходимые припасы для своего пропитанія. Дорога была трудная, горами, лвсами, съ трудными переправами, но Бай-Сугды все шелъ впередъ, счастливый уже твмъ, что, благодаря Тююзаку, освободился отъ лишней тяжести. Въ самомъ двлв, для чего ему эти верблюды, слуги и тюки, когда одному человвку такъ немного нужно?

Хакимъ Урумчи-Олой, старецъ ста двадцати лѣтъ, жилъ подъ открытымъ небомъ. Онъ такъ обросъ волосами, что долженъ былъ припод нять свои нависшія, тяжелыя отъ старости брови, чтобы взглянуть на гостя. Длинная борода спускалась до колѣнъ. Сквозь рубища выглядывало желтое худое тѣло.

— Богь да благословить мудрайшаго изъ хакимовъ!—привътствоваль его Бай-Сугды, кланяясь до земли.

Онъ разсказаль Урумчи-Олой про себя все, какъ и Тююзаку, и еще прибавиль, что, кромѣ

богатства, его угиетала страстная любовь къ женщинамъ. Да, Бай-Сугды не могъ пропустить ни одного хорошаго личика, и лучшія свои пъсни слагаль для обольстительныхъ черныхъ глазъ. У него было семь красавицъ женъ, которыхъ онъ любилъ, когда онъ были молодыми. Что лучше цвъта женской молодости дъвичьей красоты и покорной ласки темныхъ глазъ?.. Теперь онъ старъ, но и сейчасъ женская красота зажигаетъ въ немъ молодой огонь страстныхъ желаній. Эта жажда томила его цълую жизнь и не получила удовлетворенія.

- Что ты ѣлъ, Бай-Сугды? сурово спросилъ Урумчи-Олой, опуская брови.
 - Я вль все, что только могь достать...
- Огонь преступных желаній въ насъ отъ пищи... Не вить мяса, не употребляй пряностей и вина, и онъ потухнеть самъ собой. Нужно изнурять свое твло трудомъ, постомь и созерцаніемъ, и только тогда ты приблизишься къ истинв. Человвкъ, повышій свиньи, самъ двлается свиньей, а отведавшій крови двлается кровожаднымъ... Одинъ мужчина не можеть любить семь женщинъ, если онъ будеть житъ такъ, какъ я сказалъ. Что такое женщина? Это обманъ... Онъ проходитъ вмъсть съ первой ночью. Посмотри на старую женщину, куда

дѣвалась ея красота и то, чему ты слагалъ свои пѣсни? Но я еще не достигъ совершенства, Бай-Сугды... Иди въ ханство Катунъ, тамъ на большой рѣкѣ спасается великій хакимъ Эрьгуудаль. Оть него все узнаешь...

Горько заплакаль хакимъ Бай-Сугды. И Тююзакъ и Арумчи-Олой сказали ему правду, заглянувъ на дно его сердца. О, сколько неправды, зла и похотей онъ носилъ въ себъ цълую жизнь и разжигалъ своими пъснями въ другихъ... Бай-Сугды бросилъ свою котомку въ пропасть, гдъ по ночамъ выли шакалы, а самъ пошелъ впередъ пъшкомъ и босой, съ одной палкой въ рукъ.

III.

Отъ Урумчи-Олой до Эрьгуудзль хакимъ Бай-Сугды шелъ три года. Сколько опасностей онъ перенесъ, сколько труда... Пришлось идти черезъ каменистыя горы и страшнымъ лѣсомъ. Одежда давно износилась и висѣла лохмотьями, сквозь которыя сквозило пожелтѣвшее, высохшее тѣло, а ноги были покрыты глубокими ранами. Но все перетерпѣлъ хакимъ Бай-Сугды, чтобы достигнуть совершеннаго изъ людей и услышать отъ него слово послѣдней мудрости.

Питался онъ дикими плодами, кореньями и травой, какъ дикій звірь, и успіль позабыть, какой вкусъ у мяса, сладкихъ винъ и сладкихъ плодовъ. Нѣсколько разъ онъ больной въ лѣзу одинъ и со смиреніемъ ждалъ своего смертнаго часа. Но Богу было угодно, чтобы его подвигь наградился успъхомъ. Это было въ концъ третьяго года, когда уже стояла весна и все кругомъ цвъло и ликовало. Хакимъ Эрьгуудаль жилъ на берегу громадной реки Чэчэ, и хакимъ Бай-Сугды заплакалъ отъ радости, когда увиділь издали ея світлыя воды, нокомвшіяся въ зеленыхъ берегахъ. Место было самое красивое, какое только можно себъ представить.

— Богъ да благословить хакима Эрьгуудзль!— сказаль хакимъ Бай-Сугды, приближаясь къ шалашу изъ пальмовыхъ листьевъ.

Ему навстрѣчу вышель свѣжій еще старикъ, съ красивымъ лицомъ, въ чистой одеждѣ и съ крѣпкимъ тѣломъ. Именно такого старика хакимъ Бай-Сугды не ожидалъ встрѣтить.

— Ты усталь? Ты хочешь всть? Ты истомился жаждой? Ты нуждаешься въ одеждв? — спрашиваль Эрьгуудзль, ласково улыбаясь. — Воть рвка Чэчэ, сначала стунай напейся и умойся...

- Я хакимъ Бай-Сугды, изъ Хантыгая,—говорилъ Бай-Сугды въ смущении.—Мое прозваніе: лебедь Хантыгая...
- Такъ это ты, тоть самый Бай-Сугды, который сложиль пъсню:

Алой розой смёхъ твой заперть...

О, я радъ тебя видъть, лебедь Хантыгая, и позволь мнѣ омыть твои израненныя ноги, одѣть тебя въ новое платье и поцѣловать, какъ дорогаго гостя. Твои чудныя пѣсни долетѣли и до меня, какъ залетають рѣдкія птицы въ далекія страны.

Они пришли къ рѣкѣ, и хакимъ Бай-Сугды съ жадностью припалъ къ свѣтлой прохладной влагѣ. Эрьгуудзль смотрѣлъ на него и улыбался. Когда Бай-Сугды утолилъ жажду и поднялся на ноги, Эрьгуудзль съ удивленіемъ его спросилъ:

— Что-же ты, лебедь Хантыгая? Въдь тебя томила смертная жажда, а ты не выпиль даже этой ръки.

Бай-Сугды подумаль, что хакимъ шутить и отвътиль:

— Всѣ мы, когда томить насъ жажда, думаемъ, что цѣлое море воды не утолить ея...

Хакимъ Эрьгуудаль ласково засменлся и ука-

заль на дикую козу, которая на берегу рѣки общинывала молодой кусть.

- Какъ ты думаешь, лебедь Хантыгая, выростеть это дерево, если коза каждый день будеть приходить и ощипывать самые свёжіе листочки?—спросиль онъ..
 - Нѣть, оно засохнеть...

Хакимъ Эрьгуудзль опять засм'вялся, а хакимъ Бай-Сугды задумался.

Такъ они прожили три дня. Хакимъ Бай-Сугды усиѣлъ отдохнуть, освѣжился и перемѣнилъ свое рубище на чистую одежду. Онъ нарочно ничего не говорилъ о цѣли своего путешествія, ожидая перваго слова отъ Эрьгуудзля, а хакимъ дѣлалъ такой видъ, что точно давно ожидалъ Бай-Сугды и радъ его видѣть, какъ брата. Только на четвертый день Эрьгуудзль заговорилъ:

— Лебедь Хантыгая, теб'ь можно сейчасть отравиться домой: ты отдохнуль, подкрупиль себя пищей и прикрыль туло новой одеждой... Мну не хотулось огорчать тебя, что ты напрасно потеряль столько времени и перенесъ столько трудовъ и опасностей; тебя привела сюда твоя гордость и желаніе быть лучше другихь. Иди домой и пой твои пусни... Каждая слеза, осущенная твоей пуснью, и каждая улыбка

радости, вызванная ею,—такое счастье, о которомъ не смёють мечтать и ханы. Да, тебя привела сюда твоя гордость, которой ты и самъ не замёчаль... Она помрачила твое свётлое око и мірь тебё показался темнымъ. Ты надёялся на свой умъ, но это самый лукавый изъ слугь, который старается подать тебё то, чего ты еще не усчёль пожелать... Счастье наше въ одномъ днё, а правда жизни въ своей совёсти. Вёдь жизнь такъ проста, хакимъ Бай-Сугды, и ея смыслъ совсёмъ не въ томъ, что ты будешь ёсть, или во что будешь одёваться. Голодный и голый человёкъ не сдёлается справедливёе оттого только, что онъ голъ и голоденъ.

— Все это я понимаю, хакимъ Эрьгуудаль, и согласенъ съ тобой, — отвъчалъ Бай-Сугды: — но какъ-же спать спокойно, когда вся наша жизнь ничто передъ смертью... Никакая добродътель, никакой умъ, слава и красота не спасають отъ уничтоженія.

Хакимъ Эрьгуудаль весело разсмъялся.

— Лебедь Хантыгая, ты боишься того, чего не существуеть... Смерть — это когда ты думаешь только объ одномъ себѣ, и ея нѣтъ, когда ты думаешь о другихъ. Какъ это просто, лебедь Хантыгая!.. Созрѣвшій плодъ падаетъ на землю—развѣ это смерть?...

И просвътлъла душа Бай-Сугды отъ этихъ простыхъ словъ, и понялъ онъ то, чего не досказалъ хакимъ Эрьгуудзль: испугала его своя старческая слабость, затемнившая на время свътъ сердца...

Черезъ десять лѣтъ вернулся лебедь Хантыгая домой, и пронеслись по всему ханству его новыя пѣсни, какъ прилетѣвшія весной птицы: онъ пѣлъ о счастьи трудящихся, о счастьи добрыхъ и любящихъ, о счастьи простыхъ... Эхомъ повторяли эти пѣсни и пастухи въ стеци, и пахарь за плугомъ, и молодая дѣвушка за прялкой, и старики, согрѣвавшіе свое холодѣвшее тѣло около отня.

СЛЕЗЫ ЦАРИЦЫ.

I.

Старый Узунъ-Ханъ заскучалъ. Не утѣшали его больше ни зеленые сады, окружавшіе дворець, ни журчавшіе фонтаны, ни побѣды его войска, ни первый ханскій совѣтникъ Джучи-Катэмъ, котораго старый ханъ называлъ «лучшимъ изъ двухъ моихъ глазъ», ни сказки хитрой ханской смотрительницы садовъ Алтынъ-Тюлгю («золотая лисица»), ни наконецъ, ученыя разсужденія и стихи придворнаго поэта и ученаго Уучи-Бушъ («горсть его пуста»). Цвѣтущій Зеленый Городъ, въ которомъ были себраны сокровища десяти разоренныхъ Узунъ-Ханомъ сосѣднихъ государствъ, затихъ въ ожиданіи, чѣмъ разрѣшится тоска хана: можеть быть, будетъ объявлена война, или начнутся казни

томившихся по клоповникамъ враговъ, или ханъ развеселится и задасть одинъ изъ тѣхъ пировъ, на которыхъ веселились десятки тысячъ народа. Но въ ханскомъ дворцѣ было тихо, какъ въ могилѣ; а старый Узунъ-Ханъ, качая своею дряхлою, трясущеюся головой, говорилъ Алтынъ-Тюлгю:

- Алтынъ Тюлгю, не новъсить ли мнъ тебя для развлеченія, а чтобы тебъ одной не скучно было висъть, не вздернуть ли рядомъ съ тобою самаго ученаго человъка въ свътъ, Уучи-Бушъ?
- Солнце не будеть свътлъе, если погасить двъ жалкихъ, чадящихъ плошки, отвъчала хитрая Алтынъ-Тюлгю. А ханское сердце, какъ море безъ береговъ: въ немъ утонеть каждый, кто осмълится заглянуть на дно...

Голова у стараго Узунъ-Хана тряслась уже давно, а лицо было страшно-желтое, сморщенное, съ беззубымъ ртомъ, отвисшею нижнею челюстью и мутными слезившимися глазами. Это внёшнее безобразіе скрывалось подъ дорогимъ шелкомъ, рёдкими мёхами, золотомъ и драгопънными камнями, такъ что подданные хана, которые видёли его издали, считали его по прежнему, самымъ могучимъ, сильнымъ и мудрымъ изъ земныхъ царей. Дёти тоже не видёли близ-

ко стараго хана, а у него семья была порядочная: сто сыновей и двёсти дочерей. Одни приближенные знали, что такое Узунъ-Ханъ, когда-то знаменитый завоеватель, залившій кровью цёлыя государства, разрушившій десятки цвётущихъ городовъ и обезлюдившій многія сосёднія области.

Одна надежда оставалась у Алтынъ-Тюлгю, которая до сихъ поръ не обманывала ее: скучавшій Узунь-Ханъ обыкновенно кончаль тімь, что утвшаяся въ своихъ придворныхъ садахъ, въ которыхъ собраны были красавицы со всего Востока. Одинъ садъ назывался Летафеть-Намехъ (книга прелести), а другой — Баги-Дигиштъ (ханское небо). Много было собрано въ этихъ садахъ ханскихъ женъ, наложницъ и просто «аячекъ» (женская прислуга), ждавшихъ по цёлымъ годамъ, на которую изъ нихъ падеть ласковый ханскій взглядь, — такь цветы ждуть ночной росы и сохнуть, если небо затворится, какъ затворилось старое ханское сердце. Но ханское сердце было шире моря и отъ его взгляда не укользала ни одна красивая женщина въ цёломъ государстве, а первый ханскій советникъ Джучи-Катэмъ особенно былъ почтенъ за свои заслуги, Узунъ-Ханомъ: повелитель отняль у него мать, жену и дочь. Джучи-Катэмъ приняль эти милости кана съ веселымъ лицомъ и, кланяясь въ землю, повторялъ:

- Одно солнце на небѣ, одинъ Узунъ-Ханъ на землѣ и одна голова у ничтожнаго Джучи-Катэма, которая думаеть только объ одномъ, какъ угодить солнцу міра...
- О, Джучи-Катэмъ, лучшій изъ двухъ моихъ глазъ, чѣмъ я могу наградить тебя достаточно?—спрашивалъ Узунъ-Ханъ, тряся своею сѣдою головой. — Одна у меня Алтынъ-Тюлгю, и когда у ней во рту останется всего одинъ зубъ, я отдамъ ее тебѣ...

Джучи-Катэмъ и Алтынъ-Тюлгю ненавидѣли другъ друга, какъ собака и кошка, связанныя хвостами вмѣстѣ, потому что никакъ не могли раздѣлить ханскую любовь пополамъ. Узунъ-Ханъ наслаждался ихъ ссорами и заставлялъ Уучи-Бушъ мирить ихъ, —великій ученый умѣлъ смотрѣть на все ханскими глазами и слушать ханскими ушами.

И такъ, Узунъ-Ханъ скучалъ... Безмолвно стояли ханскіе сады, какъ двѣ зеленыя могилы, напрасно слонялся по дворцу Уучи-Бушъ, изобрѣтая новое развлеченіе для хана, а хитрая Алтынъ-Тюлгю все думала и думала, и мысли въ ея головѣ метались, какъ летучія мыши въ старой развалинѣ. Весь Зеленый Городъ

Digitized by Google

не могъ придумать больше, чёмъ хитрая старуха. Наконецъ, она придумала... О, какъ заиграло ея старое сердце, когда счастливая мысль была поймана, и самъ ученый Уучи-Бушъ, тайный ея совётникъ и повёренный, сказалъ ей:

— Алтынъ-Тюлгю, всё ученые всего міра не стоють одной твоей пуговицы, и если бы я быль ханомъ, то велёль бы вызолотить тебя... И ханъ будеть радъ твоей выдумкъ, и Джучи-Катэмъ выпьеть чашу испытаній до дна.

Никто въ Зеленомъ Городѣ не зналъ о выдумкѣ Алтынъ-Тюлгю, и только жемчужные фонтаны плакали и жаловались въ ночной тиши, когда тихо спалъ въ ханскихъ садахъ рой красавицъ, а соловей громко пѣлъ о любви, счастьи и вѣчной радости. Алтынъ-Тюлгю каждый вечеръ являлась къ Узунъ-Хану и разсказывала ему свои сказки, пока обезсиленный старикъ не засыпалъ тревожнымъ, старческимъ сномъ.

II.

Узунъ-Ханъ призываеть къ себѣ рано утромъ вѣрнаго своего раба Джучи-Катэмъ и говоритъ ему:

— Лучтій изъ двухъ моихъ глазъ, я много думалъ всю эту ночь... Все мое государство

спало мертвымъ сномъ, начиная отъ нищихъ, погонщиковъ ословъ, странствующихъ дервишей и кончая военною стражей, приставленной оберегать мой дворецъ, — да, всё спали, и только старый ханъ не спалт. Онъ думалъ, что живетъ не справедливо, и пролилъ много напрасныхъ слезъ. Ханъ такой же человёкъ, какъ и другіе, — у него не десять желудковъ, какъ у верблюда, не тысяча глазъ, какъ у дракона, и всего одно сердце. Не такъ ли, великій ученый Уучи-Бушъ?..

Великій ученый только закрыль глаза отъ умиленія и приложиль руки къ сердцу; а въ другой комнать, спрятавшись за занавъской, радовалась Алтынъ-Тюлгю. Конечно, Узунъ-Ханъ старъ, и ему тяжело носить свое собственное тъло, но умъ у него все такой же острый, какъ и раньше, — самой Алтынъ-Тюлгю не сказать такъ, какъ скажеть Узунъ-Ханъ.

— Справедливо ли, если одинъ человъкъ возьметъ себъ тысячу молодыхъ и красивыхъ женщинъ? —продолжалъ ханъ, тряся головой. — Онъ походитъ на того безумца, который, чтобы утолить жажду, не напьется досыта изъ одной ръки, а бъжитъ къ слъдующей ръкъ съ новою жаждой и такъ далъе, пока не падетъ въ изнеможении. Нашъ придворный ученый Уучи-Бушъ,

рискуя потерять свою мудрую голову, именно такъ и заявилъ: «это несправелливо». Онъ не побоялся даже ханскаго гнёва и сказаль прямо: «ты, Узунъ-Ханъ, старъ и тебъ необходимо подумать о твоихъ заблужденіяхъ, чтобы исправиться коть подъ коноць жизни». Учи-Бушъ сказалъ правду и я награжу его по-царски за его смълость. Да, я быль неправъ... И всего больше я быль неправь предъ тобой, Джучи-Катэмъ, лучийй изъ двухъ моихъ глазъ, потому что обезчестиль твою мать, отняль жену и опозориль дочь. Теперь я старъ и хочу исправиться... Взгляни на голубей, на лебедя, на соловья, на медейдя, на льва, какъ они живуть? Самая кроткая итица, самая бълая итица и самая сладкозвучная птица живуть парами, какъ велель имъ Богъ. Царь пустыни-левъ тоже живеть съ одною подругой, потому что онъ должень служить всёмь другимь звёрямь примъромъ. Я хочу сдълать тоже, Джучи-Катэмъ, и выбираю тебя своимъ помощникомъ... Ты знаешь, что каждую весну мои приставники объёзжали все государство и выбирали для моихъ садовъ самыхъ красивыхъ девущекъ, друтте приставники отправлянись въ другія государства и покупали лучшихъ невольницъ, -- я ничего не жалель, чтобы лучшія розы цвели

въ Баги-Дигишть и въ Летафетъ-Намехъ.) Но мои приставники обманывали меня: мое сердце оставалось холодно, потому что они не могли найти именно той дѣвушки, которая сдѣлала бы меня счастливымъ. Ты, лучшій изъ двухъ мо-ихъ глазъ, сдѣлаешь это, и великій мудрецъ Уучи-Бушъ уже предсказальтебѣ полный успѣхъ... Иди и найди ту, которая возвратитъ мнѣ мою молодость, счастье и веселье. Обманывавшихъ меня приставниковъ я велю повѣсить, а тебѣ отдамъ въ награду все ихъ имущество, женъ и дѣтей. Твоимъ помощникомъ будетъ ученѣйшій Уучи-Бушъ...

Джучи-Катэмъ поклонился хану въ землю и вышелъ. Онъ не върилъ ни одному слову хитраго старика, — подъ каждымъ ласковымъ словомъ Узунъ-Хана скрывалась ядовитая змъя. Передъ казнью онъ ласкалъ своихъ враговъ и наслаждался ихъ довърчивостью, а тъхъ, кто ему былъ полезенъ, преслъдовалъ утонченными пытками, какъ было съ нимъ, Джучи - Катэмъ.

Какъ сказалъ ханъ, такъ и сдѣлалъ. Вечеромъ Джучи-Катэмъ получилъ пять мѣшковъ съ головами казненныхъ приставниковъ и живаго Уучи-Бушъ, который былъ глупъ, какъ семь барановъ вмѣстѣ. Вѣсть о желаніи хана отыскать

себъ жену уже облетъла Зеленый Городъ, и въ ханскихъ садахъ произошелъ страшный переполохъ. Это былъ не обычный весенній наборъ ханскихъ невольницъ, а что-то новое, что заставило задуматься старыхъ ханскихъ женъ и всъхъ матерей ханскихъ женъ и всъхъ матерей ханскихъ дътей. Что-то будетъ, когда явится эта одна дъвушка! Стоны и плачъ поднялись въ ханскихъ садахъ, гдъ томились ханскія красавицы, и только громко распъвалъ невидимый ни для кого соловей, напрасно утъпавшій сгоравшія отъ любви розы.

А Джучи-Катэмъ уже принялся за дѣло. Въ его распоряжение были отданы всѣ войска, стоявшія по областямъ. Изъ тысяченачальниковъ и сотниковъ образовалась громадная свита, обязанная повиноваться каждому его взгляду. Народъ привыкъ къ нодобнаго рода зрѣлищамъ, и чадолюбивые родители съ завистью думали о той счастливицѣ, которая войдетъ царицей въ Зеленый Городъ. Тысячи дѣвушекъ въ возрастѣ отъ четырнадцати до шестнадцати лѣтъ ждали, какъ праздника, появленія Джучи-Катэма: каждая мечтала бытъ ханшей. Всѣ были довольны, и только одинъ Джучи-Катэмъ ѣхалъ такой грустный и задумчивый,—его безпокоило предчувствіе чего-то нехорошаго. Когда подчинен-

ные обращались къ нему за чёмъ-нибудь, онъ хмурился и говорилъ:

— Спросите Уучи-Бушъ, онъ все знаетъ...

Пресмыкавшійся при двор'в великій ученый теперь находился на верху блаженства и вхаль верхомъ на конъ съ видомъ счастливаго завоевателя, вступившаго въ только что побъжденную страну. Въ самомъ деле, ихъ везде такъ хорошо принимали, какъ князей, а Уучи-Бушъ любилъ почеть, жирную баранину и бездёлье. Въ каждомъ городъ къ нему являдись депутаціи отъ мъстныхъ ученыхъ и въ честь свътила науки читались раболёцные стихи, оть которыхъ могла закружиться голова даже у верблюда, но Уучи-Бушъ прикидывался скромнымъ и не хотълъ проронить ни одного зерна своей мудрости. За то какъ гордо поднималь онъ голову въ маленькихъ селеніяхъ и містечкахъ, точно пророкъ. Да и новыя обязанности такъ нравились старому ученому, и онъ лично осматриваль всёхъ дввушекъ, чтобы напрасно не безпокоить недостойных далеким путешествіем къ ханскому двору.

Такимъ образомъ, въ три мѣсяца они объѣхали почти все государство и набрали тысячи дѣвушекъ.

- Теперь можно будеть и самимъ вер-

нуться, — ръшилъ Джучи-Катэмъ. — Ханское новельніе исполнено...

— Нѣтъ, мы должны объѣхать все государство, — спорилъ Уучи-Бушъ съ непонятнымъ упрямствомъ. — Мы должны осмотрѣть всѣ уголки, чтобы вернуться къ хану съ чистою совѣстью... Можетъ быть, счастье хана спряталось гдѣ-нибудь въ глуши.

Конечно, Уучи-Бушъ, былъ глупъ, но это упрямство встревожило Джучи-Катэмъ, и онъ возненавидълъ пустую голову величайшаго въ свътъ ученаго. Недаромъ же старый ханъ нослалъ съ нимъ этого стараго болтуна, и сердце Джучи-Катэмъ наполнилось подогръніемъ. Ужели во всемъ этомъ скрыта была ловушка для него?

III.

На стверт владенія Узунт-Хана заканчивались Голодною Степью. Когда-то здёсь была цвётущая страна, но Узунт-Хант завоеваль ее, разрушиль города, одну часть жителей перебиль, а остальных выселиль въ другія области. Гдё каждый клочект земли быль воздёлань, гдё зеленты фруктовые сады и по два раза въ годъ поля одъвались тучными нивами,—тамъ сейчасъ разлеглась голодная пустыня, и только гулянъ

по ней степной вътеръ, засыпавшій мелкимъ пескомъ развалины городовъ, водоемы и громадную съть арыковъ. Изсякла вода и надъ Голодною Степью царила смерть. Обходили ее торговые караваны, пастухи съ своими стадами и даже степные разбойники. Узунъ-Ханъ гордился этою степью, какъ доказательствомъ своего могущества: одно его слово превращало цѣлыя государства въ пустыню. Такъ делали все великіе завоеватели. Отъ Зеленаго Города до Голодной Степи было десять дней пути, но воть уже сорокъ лътъ никто сюда не вздилъ и не · ходиль, за исключеніемь рідкихь охотниковь, посъщавшихъ иногда лъсистый горный хребеть Чолнанъ-Тау, гдв скрывались по леснымъ чащамъ олени и маралы.

Но жизнь притаилась и въ Голодной Степи, именно на сѣверномъ склонѣ Чолпанъ-Тау, гдѣ громоздились скалы и голые утесы. Тамъ въ пещерѣ жилъ столѣтній старикъ Байгыръ-Ханъ, одинъ изъ князей царившаго когда-то въ Голодной Степи ханскаго рода, истребленнаго Узунъ-Ханомъ. Когда-то онъ былъ лучшимъ джигитомъ, имѣлъ громадныя стада, сады, воздѣланныя поля и большую семью, но все это исчезло, благодаря завоеванію. Байгыръ-Ханъ дрался, какъ левъ, защищая свою родину, и когда все было

кончено, ушель въ Чолпанъ-Тау, чтобы здёсь на неприступныхъ высотахъ дорого продать жизнь своему счастливому врагу. Съ нимъ въ горы ушла горсть степныхъ батырей. Эти герои цълый годъ защищались въ горахъ, пока не были перебиты до последняго. Быль убить и Байгыръ-Ханъ, т.-е. его сочли убитымъ. Но онъ лежаль только въ безпамятствъ и очнулся, когда враги ушли. Да, Байгыръ-Ханъ очнулся и пожальль, что остался живь. У него еще оставались глаза, чтобы оплакивать несчастія целаго народа. Онъ навсегда поселился въ Чолпанъ-Тау, съ каменистыхъ высотъ котораго открывался видъ на Голодную Степь. На его глазахъ степной песокъ хорониль вытоптанныя поля, разрушенные города и дорогія могилы, -- нфть, вся Голодная Степь была одною сплошною могилой, и Байгыръ-Ханъ сидълъ на своей скалъ, какъ горный орелъ съ перебитыми крыльями. Сначала онъ хотвлъ мстить Узунъ-Хану, потомъ сталь думать, что за него отомстять другіе, и, наконецъ, рѣшилъ, что за сдѣланную несправедливость заплатить кровожадному завоевателю самъ Богъ. Года шли надъ Чолпанъ-Тау быстрою чередой, а Байгыръ-Ханъ превратился въ отшельника. Онъ питался горными травами, кореньями и тъмъ, что давала охота, и все углублялся въ

равмышленія. О его существованіи внали только нівсколько человіжь переселенцевь изъ Голодной Степи, иногда навізшавшихъ старика со всіми предосторожностями, чтобы не выдать его Узунь-Хану. Когда Байгыръ-Хану было уже девяносто літь, къ нему привезли четырехлітнюю дівочку, посліднюю отрасль царившаго когда-то въ Голодной Степи ханскаго рода. Эта была такая тайна, о которой не подозріваль даже самъ Байгыръ-Ханъ. Онъ сначала не віриль, но нотомъ, когда заплакали столітнія очи, сердце Байгыръ-Хана раскрылось: Богь великъ и недаромъ онъ, Байгыръ-Ханъ, прожиль въ своихъ горахъ столько літь, —радость къ нему слетіла какъ птица.

— Я чувствую, что это моя кость *),—сказаль Байгыръ-Ханъ, цълуя четырехлътняго ребенка. — Богъ великъ и послаль мнъ послъднее утъщеніе...

Дъвочку звали Кара-Нингиль («черный жемчугъ»), и она поселилась въ одной пещеръ съ Байгыръ-Ханомъ. Старикъ ожилъ, точно родился во второй разъ, и каждое утро приносило ему новую радость. Черными большими глазами Кара-

^{*)} Кость-родъ.

Нингиль смотръда на него новая жизнь, а ея улыбкой улыбалось будущее. Явились двъ козы, собака, пътскія игрушки, которыя мастериль Байгыръ-Ханъ съ особеннымъ удовольствіемъ. По вечерамъ, когда солнце спускалось къ горизонту, старикъ долго сидъль гдъ-нибудь на камив, смотрълъ внизъ, гдъ разлеглась широкою полосой Голодная Степь, и пълъ про старыхъ батырей, про удивительныхъ красавицъ и про жестокаго Узунъ-Хана. Онъ не помнилъ, кто сложилъ эти пъсни-онъ ли самъ, или кто другой, но душа требовала живаго слова, чтобы нарушить мертвую тишину теснившихся кругомъ горъ. Кара-Нингиль слушала пъсни Байгыръ-Хана и сладко засыпада на его колбияхъ невиннымъ детскимъ сномъ. Девочка росла, какъ росли кругомъ лесные цвёты и пахучія горныя травы, съ тою разницей, что цвёты не умёють улыбаться и не плачуть надъ несчастіями напрасно погибшихъ людей. Кара-Нингиль точно выросла въ этомъ сказочномъ царствъ мертвыхъ, какъ на могилахъ выростають зеленыя деревья. А Байгырь-Ханъ точно помолодель съ ней и быль уверень, что не умреть пока Кара-Нингиль не выростеть совсёмъ большою горною красавицей.

Цѣлые дни Кара-Нингиль проводила въ лѣсу и знала каждый уголокъ на ближайшихъ горахъ

Она не боялась ходить одна и карабкалась по скаламъ, какъ горная коза. Любимымъ ея мъстомъ была Кузь-Тау (Гора-Глазъ) на скалистой вершинъ которой сохранились развалины старой кръпости; когда она была построена, къмъ и для чего-не помнить даже Байгырь-Хань, а Кара-Нингиль любила это место потому, что съ него открывался великолепный видъ почти на весь Чолпанъ-Тау и Голодную Степь, уходившую изъ глазъ желтымъ ковромъ. Байгыръ-Ханъ называлъ Кузь-Тау проклятымъ мъстомъ, на которомъ даже не ростуть цвъты, и не любилъ ходить туда. Да и трудно было столетнему старику подниматься на такую кручу, -- на Кузь-Тау онъ отбивался отъ своихъ непріятелей и здёсь быль раненъ въ последній разъ. Толстыя, старыя стены, сложенныя изъ дикаго камня, служили прекрасною защитой и только недоставало воды-глубокій колодезь, устроенный въ крѣпости, давно обвалился и въ немъ жили змеи да летучія мыши.

Въ двънадцать лътъ Кара-Нингиль сдълалась задумчивою дъвушкой и почти каждый день уходила на Кузъ-Тау,—сядеть на выступъ стъны и долго-долго смотритъ въ даль, гдъ синее небо сливается съ желтою степью. Ей казалось, что именно отгуда явится одинъ изъ тъхъ батырей, о которыхъ пълъ Байгыръ-Ханъ. Иногда она

даже слышала топотъ конской скачки и далекіе голоса, но все это происходило только у ней въ головъ, и Кара-Нингиль даже вздрагивала. Однажды, когда она сидъла такимъ образомъ на Кузь-Тау, до ея слуха донесся далекій звукъ охотничьяго рога и лай собакъ. Дъвушка испугалась, вспорхнула, какъ птичка, и понеслась къ своей пещеръ.

- Дѣдушка, тамъ, въ горахъ, кто-то есть,—говорила она Байгыръ-Хану.—Я сама слышала... Мнѣ страшно.
- Это шайтанъ трубить, —говорилъ старикъ. —Кому быть въ горахъ?.. Я живу здёсь сорокъ лётъ и никого не видалъ... Это показалось тебъ, шайтанъ пугаетъ.

На этоть разь Байгырь-Хань ошибся: по горамь рыскала ханская охота. Изь ханской свиты отбился лучшій охотникь и заблудился вь горахь. Далеко залетёль соколь, а за нимь ускакаль джигить на золотистомъ аргамакъ. Когда Кара-Нингиль бъжала съ Кузь-Тау джигить замътиль ее и скоро отыскаль пещеру, гдъ скрывался Байгыръ-Ханъ. Это быль настоящій батырь, летавшій на своемъ аргамакъ, какъ птица. Когда онъ спъшился у нещеры, Байгыръ-Ханъ сказаль:

— Сорокъ лѣтъ живу въ горахъ, а перваго 6 живаго человъка вижу... Заходи, гость будешь Батырь только улыбнулся:

— Сколько тебѣ лѣтъ, старикъ? — спросилъ онъ. — Сто лѣтъ ты прожилъ на свѣтѣ, а обманыватъ не научился.

Байгырь-Ханъ испугался, но только покачаль головой и сказаль:

— Стольтній старикь обмануль оттого, что испугался, а ты, батырь, съ собой возинь свой страхъ...

Эти слова заставили батыря задуматься, — старикь угадаль.

— Меня привель сюда мой соколь, и я не сдълаю тебъ никакого зла, — отвътиль онъ, опуская глаза. — А дъйствительно есть у меня горе... Ты все знаешь, отшельникь, и я разскажу тебъ.

Батырь началь разсказывать, какъ Узунъ-Ханъ обезчестиль его мать, отнялъ жену и опозориль дочь и что онь отомстить ему. Байгыръ-Ханъ слушалъ его и качалъ своею съдою головой. Зачъмъ мстить?.. Богъ великъ, и у всякаго своя радость. Нужно жить такъ, чтобы самому не обижать другихъ. Улыбнулся батырь, разспросилъ про дорогу и уъхалъ.

Ровно черезъ годъ онъ пріфхалъ опять, но

теперь уже одинъ, и привезъ Вайгыръ-Хану ийлый тюкъ дорогихъ подарковъ.

— Отдай это своей дівочкі,—сказаль онь.— Будеть большая—пригодится.

Байгырь-Ханъ опять покачаль головой, разсматривая дорогіе подарки; батырь быль не простой человѣкъ, и не соколь привель его сюда, а, можеть быть, сама судьба. Онъ позвалъ Кара-Нингиль, велѣлъ ей поблагодарить батыря, а подарки возвратилъ. Взглянулъ батырь на Кара-Нингиль, на ея темные опущенные глаза, на стройный станъ, на румяныя щеки и только вздохнулъ.

— Черезъ годъ прівду...-сказаль онъ.

Забилось, какъ подстръленная птица, сердце батыря, еще ниже опустила свои темные глаза Кара-Нингиль, и когда батырь утхалъ и пропаль топоть его лошади, она все стояла на одномъ мъстъ, какъ очарованная. Байгыръ-Ханъ даже разсердился на нее, въ первый разъ разсердился, какъ жили они вмъстъ десять лътъ, и долго ничего не говорилъ. Старикъ думалъ свое, Кара-Нингиль—свое.

Черезъ годъ батырь дёйствительно явился, но теперь онъ пріёхаль не одинь, а съ громадною свитой. Съ нимъ былъ Уучи-Бушъ, осматривавшій нев'єсть. Великій ученый уз-

наль про Кара-Нингиль, какъ лучшую красавицу, и взяль ее въ число невъстъ Узунъ-Хану. Батырь Джучи-Катэмъ ничего не сказаль Байгыръ-Хану—темная ночь лежала у него на душъ. Онъ впередъ зналъ, что Кара-Нингиль, его возлюбленная Кара-Нингиль, которую онъ сторожилъ, какъ зъницу ока, сдълается избранницей Узунъ-Хана. Злую шутку подшутила надънимъ Алтынъ-Тюлгю, но всъ они дорого заплатятъ ему за отнятую невъсту... О, желъзное сердце билось въ груди Джучи-Катэмъ, а на днъ души лежала холодная змъя.

— Я, Джучи-Катэмъ, отомщу за всѣхъ,—сказалъ онъ на прощанье плакавшему Байгыръ-Хану.—За каждую напрасно пролитую слезу Кара-Нингиль заплатятъ мнѣ по головъ.

IV.

За Зеленымъ Городомъ, гдѣ, потонувъ въ садахъ, течетъ быстрый Икъ, выросъ новый городъ изъ разноцвѣтныхъ палатокъ—здѣсь собраны были красивыя дѣвушки со всего государства, и у каждой была своя палатка. Прежде чѣмъ сдѣлать выборъ, всѣхъ ихъ еще разъ осматривали новые приставники, знахари и опытныя старухи, состоявшія при ханскихъ дворахъ

надзирательницами. Исполнивъ свое порученіе, Джучи-Катэмъ думалъ уже получить свободу, но Узунъ-Ханъ сказалъ

— Всякое хорошее дъло нужно доводить до конца... Тебъ трудно одному управляться съ дъвичьимъ городомъ, Уучи-Бушъ слишкомъ ученъ для этого, а потому я назначаю тебъ помощницей Алтынъ-Тюлгю.

Кара-Нингиль жила въ своей палаткъ уже второй мъсяцъ, и ей было весело. Въ шумной толив веселыхъ дввушекъ она забыла и горы Чолпанъ-Тау, и свою пещеру, и самого Байгыръ-Хана. Молодое сердце рвалось отъ радости въ ожидании неизвъстнаго будущаго. По вечерамъ она подолгу сидъла на берегу быстраго Ика и все слушала, какъ шумить засыпающій Зеленый Городъ: ревъли верблюды, скрипъли арбы, блеяли бараны и ржали лошади. Какъ ей хотълось увидать этотъ городъ, въ которомъ живеть великій Узунъ-Ханъ: хоть бы однимъ глазкомъ посмотръть! Попасть въ ханши она не думала-мало ли красивыхъ дъвушекъ и безъ нея Ей надобдали только приставники, которые приходили каждый день и осматривали ее, какъ лошадь; одинъ осматриваль зубы, другой-глаза, третій — волосы, руки, шею. Старухи обходили всь падатки по ночамъ и наблюдали, спокойно ли спять красавицы и нёть ли у нихъ дурныхъ примёть, которыя можно скрыть днемъ. Джучи-Катэмъ она видёла только издали, и онъ точно не хотёлъ ее узнавать, что ее огорчало. Неужели батырь такъ скоро успёлъ забыть ее и не чувствуеть, какъ бъется ея сердце, когда онъ проходить мимо ея палатки?

Но за то какъ весело было днемъ, особенно утромъ, когда всв дввушки отправлялись купаться въ Икъ! Никто не смѣлъ подъѣхать къ Дъвичьему Городу на триста шаговъ, потому что его оберегали отряды ханской стражи, и дъвушки могли ръзвиться на свободъ, какъ хотъли. Только разъ во время такого купанья на ръкъ показалась лодка, перепугавшая всъхъ; это быль самь Узунь-Хань, хотвешій полюбоваться купавшимися красавицами. Кара-Нингиль не хотвла върить, что сгорбленный желтый старикъ, у котораго такъ страшно тряслась голова, и есть Узунъ-Ханъ, о которомъ она такъ много слышала. Не велика радость сдёлаться женою такой гнилой куклы, — ужь лучше было бы остаться въ Чолпанъ-Тау.

Въ другой разъ Кара-Нингиль страшно испугалась, когда ночью въ ея палатку, какъ тънь, вошла какая-то женщина. Эти отвратительныя старухи мъшали даже спать.

- Не бойся меня, Кара-Нингиль,—заговориль молодой женскій голось, что еще больше удижило дівушку.—Я пришла тебі сказать, что именно ты будешь нашею ханшей. Это уже рінено... Меня зовуть Акъ-Биба, я дочь Джучи-Катэмъ, котораго ты знаешь. Узунъ-Ханъ тоже любиль меня, всего одинь день любиль, а потомъ отдаль въ Летафетъ-Намехъ, гді такихъ несчастныхъ дівнушекъ сотни. Всі мы будемъ теперь служить тебі одной, какъ своей цариці... Тебі строять уже новый дворецъ.
- Я тебя не знаю, Акъ-Бибэ,—отвътила Кара-Нингиль,—и не знаю, что тебъ нужно оть меня.
- Что мнѣ нужно?—спросила Акъ-Бибэ и вдругъ заплакала, горько и неутѣшно заплакала.
 - О чемъ ты плачень, Акъ-Бибэ?
- Плачу и о себъ, и о тебъ, Кара-Нингиль... Ты еще такая молоденькая и совсъмъ не знаешь, какъ страшно жить на свътъ такой красавицъ, какъ ты. Мой отецъ Джучи-Катэмъ полюбилъ тебя и хотълъ жениться, но объ этомъ узнала Алтынъ-Тюлгю и на зло отцу захотъла сдълатъ тебя ханцей, у бъднаго отца все было отнято и нужно было еще отнять невъсту...

Акъ-Бибэ горько плакала и разсказала Кара-Нингиль всѣ алодъйства Узунъ-Хана. Этотъ полусгнившій старикъ можеть еще радоваться только муками, страданіями и униженіемъ другихъ. Чѣмъ лучше человѣкъ, тѣмъ пріятнѣе Узунъ-Хану мучить его. Дальше Акъ-Бибә разсказала Кара-Нингиль, какъ плачутъ и убиваются теперь всѣ женщины въ Летафетъ-Намехъ и въ Баги-Дигиштъ, какъ ненавидятъ ее, будущую царицу, всѣ сто ханскихъ сыновей и ханскія дочери и какъ будутъ проклинать собранныя въ Дѣвичьемъ Городѣ тысячи красавицъ, когда узнаютъ о выборѣ Узунъ-Хана.

- Я никому не сдълала зла...—шептала Кара-Нингиль.—Но, слушая тебя, я поняла только одно, что мнъ не слъдовало родиться или навсегда остаться въ Чолпанъ-Тау.
- У всякаго человѣка своя судьба, отъ которой не уйдешь. Нужно дѣлать то, къ чему ведетъ судьба.
- А что нужно д'влать? спросила Кара-Нингиль.
- Когда придеть время, я тебя научу,—отвътила Акъ-Бибэ.—Красивыя дъвушки родятся на свътъ для горя...

Ночь кончилась и Акъ-Бибэ ушла, чтобы пройти незамъченною въ свой Летафетъ-Намехъ. Если бы ее замътили, то сейчасъ же казнили бы, потому что ханскія жены не должны были

переступать порога своихъ садовъ. Когда она ушла, Кара-Нингиль горько заплакала, — она впередъ возненавидъла и Узунъ-Хана, и своихъ приставниковъ съ Алтынъ-Тюлгю во главъ, и самого Джучи-Катэмъ, любовъ котораго привела ее къ гибели. Если ее всъ ненавидятъ, какъ будущую ханшу, то и она всъхъ тоже ненавидитъ... Всю ночь громко пълъ соловей надъ палаткой Кара-Нингиль и всю ночь плакала Кара-Нингиль. Ей хотълось умереть такою, како она была сейчасъ, — молодою, красивою, какъ тъ сказочныя красавицы, о которыхъ пълъ ей Байгыръ-Ханъ.

Утромъ, когда Кара-Нингиль проснулась, посъщение Акъ-Бибэ показалось ей какимъ-то тяжелымъ, ужаснымъ сномъ. Она точно умерла въ эту ночь и проснулась другою.

Какъ говорила Акъ-Бибэ, такъ и вышло.

Когда кончилось испытаніе собранных дівнушекь, изъ каждаго десятка выбрали по одной, — получилось всего нісколько десятковъ красавиць и Кара-Нингиль попала въ ихъ число. Изъ этихъ десятковъ выбрали всего семь—Кара-Нингиль попала и въ это число. Изъ этихъ семи выбрали одну, и эта одна была Кара-Нингиль. Загреміли трубы въ Зеленомъ Городів, возликоваль весь народь и возрадовалось

сердие стараго Узунъ-Хана, когда онъ увидълъ въ первый разъ Кара-Нингиль. Ея палатка изъ разноцвътной шелковой матеріи стояла теперь посрединъ Дъвичьяго Города и надъ ней развъвались яркіе флаги, а сама Кара-Нингиль была разодъта въ шелковыя платья, въ золото и дорогіе каменья. Но подъ этимъ телкомъ, золотомъ и дорогими каменьями спряталось черное, безсильное горе, давившее молодое сердце Кара-Нингиль, какъ могильная илита.

٧.

Свою свадьбу Узунъ-Ханъ захотълъ отпраздновать въ Дъвичьемъ Городъ, гдъ шли усиленныя приготовленія. Въ центръ устроенъ быль шелковый розовый шатеръ на золотыхъ столбахъ, кругомъ него шли одна за другой три ограды изъ шелковыхъ занавъсей — зеленая, желтая, синяя. Издали этотъ шатеръ, украшенный флагами и расшитый золотомъ, походилъ на грамадный цвътокъ. Внутри все было убрано дорогими коврами, шелковыми подушками, а посрединъ стояла широкая кровать изъ золота. Другія палатки образовали широкій полукругъ. Узунъ-Ханъ не хотълъ радоваться одинъ и раздарилъ остальныхъ дъвушекъ сво-

имъ приближеннымъ, военачальникамъ и любимцамъ. Досталась жена даже Уучи-Бушъ, правда, самая некрасивая, но недостававшую женъ красоту должна выкупать мудрость великаго ученаго. Недосталось жены только Джучи-Катамъ, которому Узунъ-Ханъ сказалъ:

— У тебя, лучшій изъ двухъ моихъ глазь, не должно быть другой радости, кром'в моей... Гы будешь постоянно при мн'в, вм'вст'в съ Алтынъ-Тюлгю.

Чтобы царской невёстё не быть одной, Увунъ-Ханъ велёль ей выбрать аячекъ изъ обоихъ садовъ, и Кара-Нингиль выбрала одну Акъ-Бибэ, а по ея указаніямъ и другихъ. Когда Узунъ-Ханъ узналъ о сдёланномъ выборё, то весело разсмёялся.

Ко дню свадьбы въ Зеленый Городъ со всёхъ сторонъ пришли и пріёхали любопытные люди, желавшіе видёть своими глазами, какъ радуется великій ханъ. Когда въ городё не хватило мёста, поселились въ палаткахъ за городомъ, гдё въ зеленыхъ берегахъ весело катился быстрый Икъ. Все это радовало сердце Узунъхана и онъ велёлъ выстроить вокругъ Дёвичьяго Города всё свои войска, пусть всё радуются, кто дёлилъ съ нимъ труды и опасности войны. По обычаю, невъста должна была прі-

ъхать во дворець хана, но на этоть разъ Узунъ-Ханъ измёниль его и сказаль:

— He земля ходить вокругь земли, а солце, такъ и ханское сердце...

Уучи - Бушъ выбралъ самый счастливый день для свадьбы, какъ говорила ему его мудрость.

У Кара-Нингиль было столько ханскихъ подарковъ, что если бы надеть на нее все шелковыя матеріи, золото и камни, то ее раздавила бы эта тяжесть. Къ ней въ шатеръ имбли право входить только ея аячки и Алтынъ-Тюлгю, а изъ мужчинъ одинъ Джучи-Катэмъ. Въ свадебную ночь онъ долженъ былъ спать въ шатръ, охраняя спокойствіе новобрачныхъ,--большаго наказанія не могь бы придумать самъ дьяволъ. Но у Джучи-Катэмъ въ груди билось желъзное сердце, и онъ ходилъ съ веселымъ лицомъ, точно женился на Кара-Нингиль не Узунъ-Ханъ, а онъ. Это ввело въ заблужденіе и Кара-Нингиль: о, Джучи-Катэмъ никогда не любиль ее!... Чему онь радуется?... Всв кругомъ радовались, и одна Кара-Нингиль плакала потихоньку отъ всвхъ.

Утромъ въ день свадьбы Джучи-Катэмъ шепнулъ ей:

— Не бойся, моя радость, и слушайся во

всемъ Акъ-Бибэ, какъ будто бы говорилъ это я. Когда я вижу тебя во снѣ—я умираю, а просыпаюсь и вижу тебя на-яву — еще разъ умираю... Ты будешь царицей, мое сердце.

Эти слова ободрили Кара-Нингиль. Вѣдь, кругомъ были всѣ чужіе, и она знала одного Джучи-Катэмъ,—знали его ея сердце и глаза. О, онъ такой красивый и мужественный, настоящій, батырь! Одно его слово стоило всего ея дѣвичьяго горя.

Рано утромъ въ Зеленомъ Городѣ протрубила первая труба, а ей отвѣтила изъ Дѣвичьяго Города другая. Это послужило сигналомъ для праздника. Тысячи людей, разодѣтыхъ въ лучшія платья, ожидали съ нетерпѣніемъ рѣдкаго праздника. Между двумя городами расположились двумя живыми стѣнами войска. Передъ шатромъ Кара - Нингиль въ полукругъ были устроены мѣста для пира, а для Узунъ-Хана и Кара-Нингиль одинъ высокій тронъ подъ желтымъ шелковымъ балдахиномъ. Съ этого мѣста Узунъ-Ханъ долженъ былъ показать всему народу новую царицу.

Громко били барабаны, трубили трубы, играла всякая музыка, только глухо затворилось сердце одной Кара-Нингиль. Страшная минута быстро приближалась, какъ грозная туча. Надъ

Зеленымъ Городомъ уже стоитъ целое облако пыли, поднятое лошадиными копытами. Издали несется гуль челов ческихъ голосовъ, точно гудить морской прибой. Когда показался изъ дворца самъ Узунъ-Ханъ, поднялся такой крикъ радости, что, казалось, сама земля прогнула. Онъ вхаль съ своею свитой верхомъ, и чемъ ближе подъежаль къ Девичьему Городу, темъ сильне играла мувыка, а народь бежаль вследь толнами, какъ выступившая ивъ береговъ вода. Задрожало сердце у Кара-Нингиль, но она перемогла себя, чтобы встретить жениха съ веселымъ лицомъ. Когда поъздъ уже въвзжалъ въ Девичій Городь, девушкой овладель страхь опять, но она еще разъ побъдила себя и точно вся застыла.

— Скоро все кончится...—шептала Акъ-Бибэ, прислуживавшая Кара-Нингиль аячкой. — Ты будешь царицей... и будешь одна.

Когда Узунъ-Ханъ подъвхаль къ шатру, Кара-Нингиль должна была его встретить во главе своей женской свиты. Уучи-Бушъ прочиталь стихи и жениху, и невесте, что было его обязанностью, а Джучи-Катэмъ помогъ спуститься Узунъ-Хану съ лошади, вернее, сняль его съ седла, какъ подстреленную ворону. Узунъ-Ханъ взялъ Кара-Нингиль за руку

и ввелъ ее на царское мѣсто, рядомъ съ собой, чтобы весь народъ видѣлъ новую царицу. Играла музыка, били барабаны, тысячи народа и все войско кричали, какъ сумасшедшіе. Для нраздника было зарѣзано стадо быковъ, тысяча барановъ и вездѣ были разставлены бочки съ виномъ. Ликовалъ и радовался весь народъ, какъ ханское сердце, а Уучи-Бушъ читалъ новые стихи въ честь уже новобрачныхъ и пѣвцы пѣли ихъ подъ аккомпаниментъ музыки.

- Любинь ли ты меня, царица? спрашиваль Узунь-Хань, тряся головой.
- Разв'т тебя можно не любить, мой повелитель?—отв'тала Кара-Нингиль.
- О, не повелитель, а подданный...—шепталь разслабленный страстью старикь и у него даже глаза слевились оть радости.

Пиръ продолжался пѣлый день, пока не закатилось солнце и пока Узунъ-Ханъ не отдалъ приказъ разойтись всѣмъ. Дѣвичій Городъ сразу опустѣлъ, только кругомъ огненнымъ кольцомъ охватили его костры парадной стражи, да играла музыка. Напуганные шумомъ соловъи сегодня не пѣли и сераце Кара-Нингиль замерло, какъ тѣ птицы, которыя въ холодную зиму замерявють на-лету.

Въ шатръ оставалась она теперь одна съ

Узунъ-Ханомъ. Джучи-Катэмъ почтительно стоялъ у входа и ждалъ приказаній. Алтынъ-Тюлгю и аячки толпились, какъ овцы, въ первой оградѣ,—онѣ должны были раздѣвать невѣсту, когда Узунъ-Ханъ ляжетъ въ постель.

— Нравится тебъ моя невъста? — спрашиваль Узунъ-Ханъ върнаго слугу Джучи-Катэмъ. — Это звъзда, которая упала для меня съ неба...

Когда аячки совсёмъ раздёли Узунъ-Хана и онъ улегся въ постель, на дорогой коверъ, Джучи-Катэмъ подалъ условный знакъ своей дочери Акъ-Бибэ. Всв аячки бросились къ хану, закрыли его сверху шелковымъ брачнымъ одъяломъ и, схвативъ коверъ за края, принялись трясти, катавшагося подъ одбяломъ, Узунъ-Хана. Это была почетная казнь для всёхъ принцевъ крови, потому что существоваль законъ, по которому «солнце не должно было видеть ханской крови». Всёхъ аячекъ было больше двадцати и онъ такъ сильно трясли коверъ на воздухв, что старикъ скоро пересталъ кричать и его дряхлое, грѣшное тѣло каталось подъ одѣяломъ, какъ кусокъ масла, когда трудолюбивая хозяйка сбиваеть молоко. Джучи-Катэмъ только распоряжался, -- криковъ хана не было слышно за звуками игравшей у шатра музыки. Помертвѣвшая отъ страха Алтынъ-Тюлгю ползала теперь у ногъ Джучи-Катэмъ и молила о пощадѣ, но онъ ей только указаль на стоявшую въ углу Кара-Нингиль.

— Вотъ наша царица: проси помилованія у пея...

Все это произошло такъ быстро, что Кара-Нингиль опомнилась только тогда, когда Узунъ-Ханъ былъ уже мертвъ. Джучи-Катэмъ опустился передъ ней на одно колъно и сказалъ:

— Великая царица Кара-Пингиль, отнынъ ты одна наша повелительница...

Кара-Нингиль строго посмотръза на Джучи-Катэмъ и отвътила:

— Если ты будень служить мив такъ же, какъ Узунъ-Хану, та я тебя оставлю при моемъ дворъ въ прежней должности... Объяви народу черезъ бирючей, чго великій Узунъ-Ханъ скончался отъ радости. Да будетъ благословенно имя великаго хана и моего мужа!...

Когда Зеленый Городъ проснулся на другой день, ханская стража, стерегшая Дѣвичій Городъ, уже провозгласила царицей Кара-Пингиль. За ней послѣдовали всѣ другія войска, и Кара-Нингиль при звукахъ трубъ вступила въ Зеленый Городъ, гдѣ и заняла ханскій дворецъ. По приказанію Джучи-Катэмъ, всѣ сто сыно-

вей Узунъ-Хана были перерізаны въ эту же ночь, а дочери заключены въ Баги-Дигиштъ до распоряженія новой царицы. Онъ іхаль въ торжественной процессіи, когда Кара-Нингиль вступила въ Зеленый Городъ, рядомъ съ царицей и раскланивался съ кричавшимъ отъ восторга народомъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Кара-Нингиль ничего не знала о несчастной судьбъ убитыхъ принцевъ и радовалась, какъ вырвавшаяся на волю птица, — она осталась дъвушкой, какой была въ Чолпанъ-Тау.

Уучи-Бушъ встрътиль ее при вступленіи во дворець тьми стихами, какіе были приготовлены на этоть случай для Узунь-Хана. Городь опять ликоваль... Что же? Великій Узунъ-Хань умерь оть радости и есть новая царица. Мертвый Узунь-Ханъ лежаль въ шатрѣ одинъ, какъ издохшій осель: даже старые вѣрные слуги перебѣжали на сторону новой царицы. Всякому было до себя, а старый ханъ не нуждался больше ни въ чьемъ участіи, кромѣ облѣпившихъ его мухъ.

VI.

Когда Кара-Нингиль узнала о произведенной Джучи-Катэмъ ръзнъ, сердце ея ужаснулось. Убито сто ханскихъ сыновей—это такая страш-

ная жертва, которой куплено было ея ханство. Она призвала къ себъ Джучи-Катэмъ и объявила ему:

- Джучи-Катэмъ, я теперь знаю, чѣмъ я обязана тебѣ... Раньше мнѣ казалось, что я любила тебя. У тебя сердце тигра, Джучи-Катэмъ...
- Я только мстиль за свой позоръ,..—отв'ьтиль Джучи-Катэмъ, опуская глаза.—Узунъ-Ханъ все отняль у меня и я двадцать л'єть таиль въ себ'є эту месть. Теперь ты царица и Джучи-Катэмъ будеть ягненкомъ.

Но Кара-Нингиль не върила батырю и старалась не видъть его. Даже Алтынъ-Тюлгю, и та оправдывала Джучи-Катэмъ: развъ могь онъ поступить иначе, когда всъ ханы, вступая на престоль, выръзывають своихъ соперниковъ до послъдней головы? «Такъ велось изстари и такъ будетъ всегда», —увъряла старуха, трепетавшая за свою голову.

Тѣ ханскія жены-наложницы, которыя участвовали въ умеріцвленіи Узунъ-Хана, сдѣлались теперь приближенными Кара-Нингиль и во главѣ всѣхъ стояла смѣлая дѣвушка Акъ-Бибэ. Черезъ нее Кара-Нингиль знала все, что дѣлается въ Зеленомъ Городѣ, что говорится въ войскахъ про новую царицу и даже что происходитъ въ самыхъ отдаленныхъ провинціяхъ.

Когда Узунъ Ханъ былъ похороненъ съ полобающею великому человъку пышностью и надъ его могилой вырось громадный памятникъ, Кара-Нингиль уничтожила оба ханскихъ сада, а томившихся въ нихъ красавицъ выдала замужъ за лучшихъ военачальниковъ. Были довольны бывшія ханскія жены, получившія молодыхъ мужей, а также и мужья, получившіе красивыхъ женъ съ богатымъ приданымъ. Все войско сказало, что Кара-Нингиль мудрая женщина. Остались около Кара-Нингиль только тв. которыя составляли ея свиту въ Дъвичьемъ Городъ. Ихъ она не отпустила: она не знала мужа и онъ не должны были выходить замужъ. Это служило какъ бы платой за убійство Узунъ-Хана.

Когда ханскіе сады опустьли, Кара-Нингиль захотьла ихъ осмотрьть. Выдь, объ этихъ садахъ ходили волшебные разсказы,—въ нихъ Узунъ-Ханъ собралъ всь сокровища, награбленныя въ Средней Азіи, въ Китав и Персіи. Назначенъ былъ день для этого осмотра, и когда Кара-Нингиль вошла въ Летафетъ-Намехъ въ сопровожденіи своей свиты, всь цвъты повяли на ея глазахъ. То же самое повторилось и въ Баги-Дигиштъ. Это очень огорчило Кара-Нингиль, и опа не захотъла осматривать роскошныхъ двор-

цовъ, гдъ томились въ своей золотой неволь ханскія жены, наложницы и невольницы.

— Это сдълалъ какой-пибудь колдунъ, — объясняла Алтынъ-Тюлгю, испуганная не меньше царицы. — Мало ли на свътъ дурныхъ людей.

Уучи-Бушъ подтверждалъ мивніе Алтыпъ-Тюлгю, но Кара-Нингиль была грустная и думала про себя:

«Цвъты не выносять моего присутствія, потому что изъ-за меня столько пролито невинной крови...»

Она теперь стала бояться каждаго цвътка. Въ ханскомъ дворцъ не было цвътовъ, и она могла оставаться спокойной, но это ее ужасно мучило, хотя она никому и не говорила. Проходили дни недъли, мъсяцы, а Кара-Нингиль все думала объ одномъ. Нъсколько разъ черезъ Алтынъ-Тюлгю она тайно доставала цвъты и каждый разъ они умирали на ея глазахъ, точно на нихъ дохнулъ холодный съверный вътеръ. Кара-Нингиль боялась, что народъ узнаетъ объ этомъ и откроетъ въ ней убійцу Узунъ-Хана.

— Буду д'влать добро и тогда Богь сниметь съ меня это проклятіе,—думала Кара-Иингиль.

Первымъ дѣломъ она не дала въ обиду Алтынъ-Тюлгю, до которой добирался истительный. Джучи-Катэмъ, а потомъ сохранила жизнь УучиTOTAL WARRANT

Бушъ, ученая голова котораго готова была отдълиться отъ туловища по одному слову всесильнаго Джучи-Катэмъ. Хотълось Кара-Нингиль увидъть Байгыръ-Хана, но самъ старикъ былъ настолько дряхлъ, что не могъ пріъхать къ ней въ Зеленый Городъ, а она не могла отправиться въ Чолпанъ-Тау, чтобы не выдать себя—на Чолпанъ-Тау цвътовъ было мало, а Кузь-Тау стояла совсъмъ голая, но были цвъты по дорогъ туда, въ тъхъ горныхъ долинахъ, по которымъ бъжали бойкія горныя ръчки. Невозможность увидъть Байгыръ Хана сильно печалила Кара-Нингиль, но ей нельзя было вырваться изъ Зеленаго Города.

Джучи-Катэмъ сдѣлался главнымъ человѣкомъ во владѣніяхъ Узунъ-Хана, и отъ него зависѣло все. Но его не радовали ни власть, ни богатство, ни почести, потому что Кара-Нингиль разлюбила его. То, чего не могь отнять Узунъ-Ханъ, ушло само собой. Свое горе онъ забывалъ въ работѣ, а работы было много. Между прочимъ, оказалось, что изъ прямыхъ наслѣдниковъ Узунъ-Хана оставался еще въ живыхъ одинъ, именно мальчикъ лѣтъ десяти, Аланча-Ханъ. Онъ какимъ-то чудомъ спасся отъ общаго избіенія ханскихъ сыновей и бѣжалъ въ горы, къ китайской границѣ. Во что бы то ни стало необходимо было добыть этого послѣдняго потомка Узунъ-

Хапа, и только тогда царствованіе Кара-Нингиль будеть обезнечено вполнів. Конечно, Джучи-Катэмь не выдаль никому своей работы и вель дізо въ величайшей тайнів. Аланча-Ханъ скрывался въ простой юртів у настуховъ-киргизовъ и, какъ байгупів *), пасъ стадо. Цізлый годь Джучи-Катэмъ высліживаль и только черезъ годь его схватиль. Судьба мальчика была різонена впередъ и Кара-Нингиль не должна была ничего знать.

Но вышло иначе. О судьбѣ маленькаго Аланча-Хана разсказала Кара-Нингиль хитрая Алтынъ-Тюлгю, въ формѣ сказки, и царица горько плакала надъ судьбой несчастнаго ребенка. Когда же она узнала, что эта сказка быль и что Аланча-Ханъ живъ, она призвала къ себѣ Джучи-Катэмъ и стала на колѣняхъ умолять его не убивать невиннаго ни въ чемъ ребенка.

- Передъ тобой ползаетъ на колѣняхъ царица,—говорила Кара-Нингиль, ломая руки.
- Царица молить о своей и моей гибели, повторяль непреклонный Джучи-Катэмъ.—Или онъ, или мы.
- А если тебя будетъ просить не дарица, а Кара-Нингиль, та Кара-Нингиль, которая тебя

^{*)} Байгушъ -- пищій.

любила?.. Тебя просить бѣдная дѣвушка изъ Чолпанъ-Тау...

Повернулось желізное сердце Джучи-Катэмъ оть этихъ словь и его сильныя руки опустились. Что было ему ділать? Аланча-Ханъ подростетъ и казнить ихъ всіхъ... Но Кара-Нингиль такъ плакала, такъ молила его и даже ціловала полы его платья, что Джучи-Катэмъ не устоялъ,—такъ вода подмываеть самыя большія горныя скалы.

— Кара-Пингиль, номни: ты сама этого желала,—сказаль Джучи-Катэмъ, поклонился и вышелъ.

Аланча-Ханъ былъ спасенъ. Его поселили въ Баги-Дигиштъ, окружили дворецъ высокою стѣной, поставили строгій караулъ и вообще приняли всѣ мѣры, чтобы Аланча-Ханъ не вырвался изъ своего заточенія на волю. Кара-Нинвиль плакала отъ радости.

III.

Аланча Ханъ быль заживо погребень въ Баги-Дигишть и его окружала во дворцѣ нѣмая стража,—это были тѣ несчастные плѣнники, которымъ Узунъ-Ханъ велѣлъ вырѣзывать языки. Джучи-Катэмъ составилъ изъ нихъ вѣрную охрану и каждый день утромъ и вечеромъ при-

ходиль повърять ихъ. Каждому ослушнику, оставившему свое мъсто, грозила смертная казнь. Маленькій Аланча-Ханъ точно очутился царствъ мертвыхъ и не слышалъ живой человъческой ръчи. Онъ, какъ тынь, бродилъ по комнатамъ своего дворца, гулялъ въ саду и цѣлые дни проводиль у фонтановъ, точно разговаривавшихъ съ нимъ. Да, здъсь не молчали одни фонтаны да по ночамъ плакали въ зелени чинаръ, миндалей и кипарисовъ соловьи. Німая прислуга объяснялась съ хапомъ знаками, да и то только въ крайнихъ случаяхъ. Мальчикъ ничего не зналъ: зачъмъ его засадили сюда, зачьмъ держатъ въ неволь, зачьмъ, наконецъ, не убьють, какъ убили его братьевъ. Онъ бродилъ по Баги-Дигишть, какъ живая тынь самого себя.

Какъ тихо тянулось время въ Баги-Дигиштъ, такъ быстро оно катилось за его ствнами, тамъ, гдв раскинулся Зеленый Городъ. Дни, недвли, мъсяцы летвли здвсь, какъ птицы, особенно для Кара-Нингиль. Изъ неопытной и молоденькой дввушки она сдвлалась совсъмъ большою, но такою же красивой и свъжей, какъ при вступленіи на престолъ. Ея сверсницы, вышедшія замужъ, успъли уже состариться, потому что родили дътей, заботились, радовались и плакали, а Кара-Нингиль, попрежнему, оставалась дъвуш-

кой и не знала мужскаго поцёлуя. Она даже боялась мужчинь, отъ которыхъ всв несчастія на землъ: и война, и рождение дътей, и слезы обманутыхъ женъ, и много другихъ несправедливостей, какія ділають сильные надъ слабыми. Кара-Нингиль решила остаться девушкой, чтобы посвятить свою жизнь своему народу и помаленьку исправить все то зло, какое нанесъ ему жестокій Узунъ-Ханъ. Въ средѣ ея приближенныхъ много было красавцевъ-батырей, но ни на одного не упаль еще милостивый взглядь царицы, точно застывшей въ своей заколдованной красоть. Процвытало земледыле, ремесла, торговля, искусства, и счастливый народъ превозносиль свою мудрую царицу Кара-Нингиль, которую видъли только одни придворные. Посъдъла черная борода у самого Джучи-Катэмъ, а Кара-Нингиль все оставалась дъвушкой, ревниво охраняя «ледъ своей девичьей гордости», какъ говорить поэть Гафизь.

Никто, кром'в Алтынъ-Тюлгю и Акъ Бибэ, никто не зналъ, какъ скучаетъ эта неприступная красавица, когда остается одна. Простые люди и не должны были этого знатъ, а иначе они перестали бы уважать свою царицу. Прежде всего, она должна была сама уважать себя и говорила:

— Я царица не потому только, что Узунъ-Ханъ женился на мнѣ, а потому, что я изъ древняго ханскаго рода... Я — природная царица, настоящей царской крови.

Сосъдніе государи попробовали было воспользоваться смертью Узунь-Хана, чтобы завоевать его парство, но Джучи-Катэмъ победоносно разбиль ихъ на голову и могь бы еще завоевать новыя владенія. Кара-Нингиль не хотела этого. Пусть только ее не трогають. Мало-по-малу она такъ привыкла къ своей власти, что считала себя необыкновенною женщиной, совсымь не похожею на тъхъ дъвушекъ, которыя выходять замужь, родять детей и быстро изнашиваются въ суетъ своихъ ежедневныхъ женскихъ заботь. Она-царица, и для нея нъть обыкновенныхъ радостей, горя и слезъ. Когда ей дъскучно, Алтынъ-Тюлгю разсказывала лалось свои сказки, а веселая Акъ-Бибэ пъла песни.

Но Кара-Нингиль очень часто уходила въ самую дальнюю комнату своего дворца, запиралась и долго плакала, — никто не долженъ быль видъть этихъ женскихъ слезъ, даже Акъ-Бибэ и Алтынъ-Тюлгю. Въ Кара-Нингиль съ страшною силой боролись царица и жепщина. Выходила она изъ своего затвора такая веселая и спокойная такъ что пикто не зналъ,

что она тамъ ділала. Не укрылась эта женская хитрость только отъ старыхъ глазъ Алтынъ-Тюлгю, которая, какъ собака, ловила каждое движеніе своей госпожи. Однажды она сказала цариці:

- Казни меня, царица, но ты плакала...

Кара-Нингиль вся вспыхнула, какъ пойманный на мъстъ воръ, но ничего не отвътила глупой старухъ. Въ другой разъ Алтынъ-Тюлгю сказала ей:

— Ты хорошо дѣлаешь, что не знаешь ни одного мужчины, но, вѣдь ты состаришься и тогда пожалѣешь. Вели меня казнить, но я говорю правду...

Кара-Нингиль пе казнила Алтынъ-Тюлгю, а только разсмѣялась.

Акъ-Бибо думала другое: когда Кара-Нингиль начинала скучать, она придумывала какое нибудь развлечение. Разъ она сказала царицѣ!

— Пойдемъ, посмотримъ, что дълаетъ Аланча-Ханъ... Онъ насъ не увидитъ, а мы его посмотримъ. Онъ уже совсъмъ большой и, какъ говорятъ, очень красивъ.

Кара-Нингиль согласилась на эту глупость и отправилась въ Баги-Дигиштъ вмѣстѣ съ Акъ-Бибэ. Аланча-Ханъ гулялъ въ саду, а онѣ смо-

тріли на него черезъ отверстіё въ стінт сада.

— Ахъ, какой красивый! Настоящій ханъ!— шептала Акъ-Бибэ.—Какая у него гордая осанка, какіе горячіе глаза... Какъ жаль, что его нельзя выпустить изъ неволи. Джучи-Катэмъ неумолимъ...

Кара-Нингиль пичего не отвѣчала и вернулась домой задумчивѣе обыкповеннаго. Въ слѣдующій разъ она переодѣлась аячкой и отправилась въ Баги-Дигиштъ одна. Стража ее знала и пропустила. Аланча-Ханъ опять гулялъ въ саду и очень удивился, когда увидѣлъ передъ собой скромно одѣтую дѣвушку.

- Ты зачёмъ здёсь?—спросиль онъ и удивился звуку собственнаго голоса,—онъ совсёмъ отвыкъ говорить вслухъ.
- Меня послала къ тебъ Кара-Нипгиль, наша царица, спросить не пужно ли тебъ чегонибудь?—отвътила Кара-Нингиль, скромно опуская глаза, какъ настоящая аячка.
- Я съ женщинами не имѣю дѣла, гордо отвѣтилъ Аланча-Ханъ и даже выпрямился, какъ молодой тополь. Скажи Кара-Нингиль, что она дурная женщина... Она убила моихъ братьевъ и захватила престолъ. Она хочетъ заморить меня здѣсь, въ этой раззолоченной могилѣ, и я удивляюсь, почему она просто не велѣла меня

казнить. Такъ ей и скажи, я не боюсь смерти... Богъ насъ разсудить.

- Кара-Нингиль лучше, чёмъ ты думаешь... Ей приписывають многое, чего она и не думала никогда дёлать, а дёлають другіе отъ ея имени. О хорошемъ не говорять, а худое вилять всё...
- Видно, сладко тебя кормить Кара-Нингиль, если ты такъ нахваливаешь ее—отвътилъ грубо Аланча-Ханъ и засмъялся.

Это обидело Кара-Нингиль, какъ ударъ ножа, и глаза ея засверкали, но она удержала свой гневъ и опять принялась хвалить мудрую царицу, которая жертвуетъ собой для другихъ.

— Если ты пришла только за этимъ, то это напрасный трудъ, — отвѣтилъ Аланча-Ханъ, отвернулся и прибавилъ: — Скажи своей Кара-Нингиль, что я ее ненавижу, какъ всѣ сто моихъ зарѣзанныхъ братьевъ... Во мнѣ царская кровь, а она дочь простаго пастуха...

Домой Кара-Нингиль вернулась огорченная и разгитьванная. Зачты онъ ненавидить ее и обвиняеть въ томъ, что она никогда не дълала? Это несправедливо. Но какой у него гордый видъ, у этого Аланча-Хана... Кара-Нингиль все думала о немъ, и въ ея сердце, какъ воръ ночью, прокралось чувство сожалтния къ не-

счастному узнику. Бѣдный Аланча-Ханъ!.. Что ни дѣлала Кара-Нингиль, мысль о ханскомъ сынѣ не покидала ее. Какъ она не нашлась тогда на его дерзость разсказать все то, что она знала объ Узунъ-Ханѣ и о томъ, какъ онъ обезлюдилъ Голодную Степь, разрушилъ многіе города и безчеловѣчно истребилъ ханскіе роды въ томъ числѣ и ея родъ? О, нужно еще разъидти и сказать этому гордому мальчишкѣ все... Такъ и сдѣлала Кара-Нингиль. Аланча-Ханъ опять гулялъ въ саду и точно поджидаль ее. Она уже приготовилась высказать ему все, какъ онъ остановиль ее.

- Ахъ, какъ мнѣ скучно, аячка...—прошепталъ Аланча-Ханъ и отвернулся, чтобы скрыть непрошенную слезу. Ты тогда говорила, что Кара-Нингиль справедлива и желаетъ сдѣлать все, чтобы улучшить мое положеніе. Я тогда не хотѣлъ унижаться до просьбы, но теперь скажи ей: Аланча-Ханъ проситъ Кара-Нингиль, пусть она позволяетъ своей аячкѣ приходить въ Баги-Дигиштъ каждый день.
- Это невозможно!.. перебила его Кара-Нингиль и покраснъла.
- Но, въдь, это ей ничего не стоить? Развъ мало у ней аячекъ, чтобы уступить мнъ всего одну?.. Потомъ ты не можешь понимать.

какъ подумаетъ царица. Можетъ быть она будетъ посылать тебя...

Прежняго гордаго ханскаго сына точно не было, а быль несчастный человекь, который точно постучался въ душу Кара-Нингиль. Вмъсть съ тьмъ, ей ужасно было обидно, что онъ принимаеть ее за простую аячку, которой царица можеть распоряжаться, какъ ей угодно. Да и онъ видить въ ней просто женщину, которая усладила бы скуку одиночества. Но глаза Аданча-Хана говорили другое: они такъ любовно проводили ее и столько въ нихъ было печальной мольбы. Кара-Нингиль не выдержала и бъжала отъ него, какъ бъжить аргали отъ охотника, Онъ не спорилъ съ ней, какъ въ первый разъ, не бранилъ Кара-Нингиль; она увидъла его печальнымъ... Нътъ, больше-онъ полюбиль ее съ перваго раза, и полюбиль не какъ царицу, а какъ полюбилъ бы всякую другию дъвушку.

Это приключение взволновало Кара-Нингиль. Притомъ, все происходило при такой сказочной обстановкъ. Царица видъла Аланча-Хана даже во снъ, и онъ шепталъ ей ласковыя слова и все смотрълъ своими темными, печальными глазами, смотрълъ прямо въ душу. Душно ей было въ своемъ дворцъ, и во снъ Кара-Нингиль шеп-

тала тѣ ласковыя слова, которыя душили ее. Но идти въ третій разъ къ нему она не рѣшилась: зачѣмъ напрасно мучить бѣднаго недоступнымъ призракомъ? А если онъ ждеть ее? По крайней мѣрѣ, нужно же ему сказать, что Кара-Нингиль не согласна отпустить къ нему свою любимую и самую преданную аячку.

Съ этими мыслями Кара-Нангиль шла въ третій разъ въ Баги-Дагишть, но при входъ стража загородила ей дорогу.

- Джучи-Катэмъ не велѣлъ пускать никого...
 - Лаже и меня? Вы знаете, кто я...
 - Даже и тебя, царица.
- A, такъ воть какъ... прошептала пристыженная Кара-Нингиль, и глаза ея засверкали небывалымъ еще огнемъ.

VIII.

Джучи-Катэмъ былъ схваченъ и заключенъ въ Летафетъ-Намехъ. Онъ сдёлался такимъ же узникомъ, какъ и Аланча-Ханъ.

- Кто меня велѣлъ схватить и за что? спрашивалъ онъ, оглушенный всѣмъ случившимся.
 - Сама царица.

— Не можеть этого быть! Дайте мнѣ случай переговорить съ ней, и царица увидить, что я страдаю невинно!.. Я всегда желаль ей одного добра.

Но Кара-Нингиль не пожелала видеть Джу-чи-Катэмъ, а только послала къ нему Алтынъ-Тюлгю сказать, что царица можетъ поступать, какъ хочетъ, и каждый ослушникъ ея воле понесетъ достойное наказаніе. Ничего не ответиль Джучи-Катэмъ, а только низко опустилъ свою голову: вотъ награда за его верную службу и преданность.

Всѣ ждали, кого назначать на мѣсто Джучи-Катэмъ и какой счастливецъ приблизится къ царицѣ, но Кара-Нингиль хотѣла показать, что она настоящая царица и всѣми государственными дѣлами можетъ править одна. Ея воля—законъ для всѣхъ.

Теперь путь въ Баги-Дигиштъ былъ открытъ, и Кара-Нингиль могла отправляться туда, когда хотъла. Эта свобода сначала даже ее немного смутила, и она точно не ръшалась воспользоваться ею, какъ долго сидъвшая въ клъткъ птица, которая расправляетъ крылья, прежде чъмъ унестись въ небо. Ей было совъстно предъ Акъ-Бибэ и другими женщинами. Но ее такъ и тяпуло въ Баги-Дигиштъ: навърное, Аланча-Ханъ

ждеть ее и скучаеть. Онъ дъйствительно ждаль и, когда она пришла, попрежнему, скромною аячкой, онъ умоляюще протянулъ руки:

- Мић казалось, что я умеръ, пока не видѣлъ тебя, ласково шенталъ онъ. Ну, что Кара-Нингиль? Чъмъ больше я думаю, тъмъ больше мит хочется увидъть ее... Я знаю про нее все; она первая красавица во всемъ государствъ.
- Ты красивъе ея, Аланча-Ханъ... Но твоя красота, какъ спрятавшееся за тучами солнце. Потомъ Кара-Нингиль глупа.. Когда я ей сказала о твоемъ желаніи имъть въ услуженіи аячку, она отвътила: иди къ нему и сдълай все, чтобъ онъ не скучалъ.
- Нѣтъ, она мудрѣйшая изъ всѣхъ женщинъ!... Значитъ, ты будешь приходить ко мнѣ каждый день?
- О, нѣтъ... Я могу приходить только иногда, но оставаться здѣсь не могу. Кара-Нингиль сказала: «Ты идешь къ нему чистою дѣвушкой и такою же возвратишься, а иначе я тебя казню».

Аланча-Ханъ только засмъялся, а Кара-Нингиль опустила глаза. Каждый разъ, когда она приходила къ нему, онъ начиналъ ее разспрашивать про царицу, точно влюбленный. Сердце Кара-Нингиль усиленно билось, но она не откры-

вала своего настоящаго имени. Когда Аланча-Ханъ скучалъ, она разсказывала ему сказки, тѣ сказки, гдѣ влюбленные не узнавали другъ друга, а злая судьба смѣялась надъ ними. Всѣ свои мысли и чувства Кара-Ниигиль передавала въ этой формѣ и наблюдала, какое дѣйствіе они производять на Аланча-Хана. Когда она входила въ Баги-Дигиштъ, то совсѣмъ измѣнялась,—гордая царица оставалась у воротъ сада, а здѣсь была скромная дѣвушка, боявшаяся каждаго ласковаго взгляда.

Случилось то, что равняеть всъхъ женщинъ. Когда Аланча-Ханъ въ первый разъ обнялъ и поцъловалъ Кара-Нингиль, она задрожала, какъ подстръленная аргали, и только прошептала;

- Что ты д'влаень? Что я скажу Кара-Ницеиль?
 - Скажи ей, что я такъ хочу.

Кара-Нингиль едва вырвалась изъ его объятій и долго не показывалась въ Баги-Дигишть. Зачёмъ онъ поцёловалъ ее?... Этотъ поцёлуй точно ожогь ее, и, просыпаясь ночью, она протягивала руки певидимому Аланча-Хану. Конечно, онъ могъ поцёловать простую аячку, но гордость царицы Кара-Нингиль была оскорблена. О, она его любитъ, но онъ никогда не долженъ знать объ этомъ!

Въ слѣдующее свиданіе Кара-Нингиль сказала Аланча-Хану:

- Я бѣдная дѣвушка, и ты меня оскорбиль своимъ поцѣлуемъ!
- Я тебя люблю, аячка,—отвычаль Аланча-Ханъ.
- О, разв'в такая бываеть любовь?... Теб'в скучно зд'всь сид'вть одному, воть ты и приласкаль аячку. Но ты забыль, что обманываешь Кара-Нипгиль, которая теб'в в'врить. Твоя любовь погубить меня, какъ солнце выжигаеть весеннюю траву въ степи. Если бы ты быль ханомъ, то какъ Узунъ-Ханъ каждый годъ собираль бы со всего государства самыхъ красивыхъ д'ввушекъ и запираль бы въ своихъ садахъ. Это несправедливо, и это не любовь.
 - Милая д'ввушка, власть портить людей, но сейчась я знаю только одно, что люблю тебя, и больше не знаю ничего... Если бы я быль ханомъ, то сдёлаль бы тебя своею женой.
 - A если бы къ теб'в пришла сама Кара-Нингиль?... Ты забыль бы и меня, и вс'вхъ на св'ять.
 - Оня-жена моего отца.
- Только по имени... Она остадась чистою дъвушкой и гордится этимъ. И если бы Кара-Нингиль пришла къ тебъ, сама царица Кара-

Нингиль, и сказала бы, что люблю тебя... О, ты забыль бы меня!

- Никогда!—повторяль Аланча-Ханъ и протягиваль умоляюще руки, точно такъ, какъ Кара-Нингиль видъла его во снъ.—Если бы я былъ ханомъ, я прежде всего казнилъ бы Кара-Нингиль... Я ее ненавижу.
- A зачёмъ ты такъ часто спрашиваешь меня о ней?
- Потому, что ты такъ ее расхваливаешь. Случилось то, что бываеть съ красивыми и некрасивыми дѣвушками. Кара-Нингиль провела цѣлую ночь въ Баги-Дигишть и утромъ горько плакала.
- Что я скажу теперь Кара-Нингиль?—повторяла она, не слушая утёшеній Аланча-Хана.— Я обманула ее... Она будеть теперь презирать меня. Какъ я покажусь къ ней на глаза?
- Оставайся здёсь,—просиль ханъ.—Или подговори стражу и бъжимъ.

Кара-Пингиль аячка ревновала теперь Аланча-Хана къ собственной твни, къ той неприступной царицъ Кара-Нингиль, которая не должна была знать обычныхъ женскихъ слабостей. Она возненавидъла Аланча-Хана, которому отдала все. Но неотразимая сила влекла ее опять въ Баги-Дигиштъ, и Кара-Нингиль пила здъсь пол-

ною чашей отравленныя радости своей первой любви. Она была счастлива, что Аланча-Ханъ весель и что она развлекаеть его въ уединеніи, какъ та птичка, которая поетъ на окнъ заклютюрьмъ. Возвращаясь домой, она ченнаго въ опять дёлалась неприступною царицей, предъ которою трепетали всв. О, она умела показать, что Кара-Нингиль можеть править государствомъ такъ же мудро и безъ Джучи-Катэмъ! Изъ дальнихъ странъ прівзжали любопытные посмотреть, какъ управляеть цёлымъ государствомъ молодая женщина, и восхваляли ее. Уучи-Бушъ прославляль ее въ своихъ стихахъ, которые распъвались бродячими пъвцами. Народъ благоденствоваль, торговля процебтала и только одни войска роптали, вспоминая походы Узунь-Хана, когда они могли грабить, убивать и уводить въ плѣнъ.

Кара-Нингиль была счастлива такъ же про себя, какъ раньше плакала одна, — никто не долженъ былъ знать объ ея тайныхъ радостяхъ. Цвъты попрежнему вяли въ ея присутстви, но ей теперь было не до нихъ.

IX.

Джучи-Катэмъ сидълъ въ заключеніи уже два года и ничего не зналъ, что дълается тамъ, за предълами его тюрьмы. Онъ быль окруженъ такою же нёмою стражей, какъ и Аланча-Ханъ. Цълые дни онъ гулялъ въ саду и чутко прислушивался къ гулу, который доносился изъ Зеленаю Города. Что-то теперь дёлается тамъ и что ділаеть царица Кара-Нингиль, заплатившая ему черною неблагодарностью и за его услуги, и за любовь? У Джучи-Катэмъ даже не являлось мысли о бъгствъ: куда ему бъжать, да развѣ онъ можеть бѣжать оть Кара-Нингиль? Когда-то красивый батырь теперь посёдёль и опустился, — это быль уже старикь. Но онъ быль уверень, что настанеть чась, когда Кара-Нингиль вспомнить и про него, тоть черный часъ, когда нужны одни върные слуги. Пусть царица радуется теперь съ Аланча-Ханомъ, но эти радости дорого будуть ей стоить. Джучи-Катэмъ видълъ даже во снъ садъ Баги-Дигиштъ и видътъ Кара-Иннгиль, какъ она потихоньку отъ всёхъ крадется къ своему любовнику, -- о, -одп ототе атинева атакте не вельть казнить этого проклятаго ханскаго сына! Гордая и неприступная

царица забыла для него все — и свою дівнчью гордость, и величіе царицы, и его совіты.

Разъ почью, когда Джучи-Катэмъ спалъ, его разбудилъ шумъ пезнакомыхъ шаговъ. Въ первую минуту онъ подумалъ, что пришли за нимъ, чтобы казнить его, и похолодътъ отъ ужаса, но потомъ въ его комнату вошла Акъ-Бибэ и бросилась отцу на шею.

- Ты свободенъ! шентала она. Кара-Пингиль ждеть тебя.
- Что-нибудь случилось?—спрашивалъ Джучи-Катэмъ, не въря собственному счастью.
- Аланча-Ханъ бѣжалъ! отвѣтила Акъ-Бибэ, опуская глаза. — Кара-Нингиль повволила ему съѣздить на охоту, а онъ бѣжалъ. За него войско и весь народъ Съ минуты на минуту ждуть возмущенія, а Кара-Нингиль заперлась въ своемъ дворцѣ. Народъ забылъ ея благодѣянія, ея мудрое правленіе—все.
- Я этого ожидаль, задумчиво говориль Джучи-Катэмъ. — Такъ должно было быть.

Кара-Нингиль съ нетерпѣніемъ ожидала въ своемъ дворцѣ появленія Джучи-Катэмъ. Противъ нея было все: обласканные ею князья, войско, народъ. Пока Джучи-Катэмъ находился въ заключеніи, сторонники Узунъ-Хана дѣлали свое темное дѣло на свободѣ. Она узнала обо

всемъ послѣдняя. Аланча-Хапъ выпросилъ ея позволеніе съѣздить на охоту и бѣжалъ. О, какъ онъ ее умолялъ и она повѣрила его клятвамъ! Но было одно хорошо, до конца она осталась для него простою аячкой и не выдала своего настоящаго имени.

Когда явился во дворецъ Джучи-Катэмъ, Кара-Нингиль приняла его спокойная и гордая какою онъ зналъ ее всегда.

- Ты свободенъ, Джучи-Катэмъ, сказала она, и подумай о своемъ спасеніи. Войска передались на сторону Аланча-Хана.
- Царица, я умру вмѣстѣ съ тобой, отвѣтилъ Джучи-Катэмъ. Счастье измѣнчиво, но мы еще увидимъ, какъ справится этотъ мальчишка съ Джучи-Катэмъ... Проклятое отродье Узунъ-Хана узнаетъ меня.
- Дѣлай, что хочешь и какъ хочешь,—рѣшила Кара-Нингиль.—Я виновата предъ тобою.
- Разв'в солнце можеть быть виновато, что осл'виляеть наши слабые глаза?

Джучи-Катэмъ разсчитывалъ на свое прежпес вліяніе на народъ, но онъ въ этомъ ошибся такъ же жестоко, какъ Кара-Нингиль въ Аланча-Ханъ. Народъ успълъ забыть Джучи-Катэмъ и съ петерпъніемъ ждалъ, когда Аланча-Ханъ подступитъ съ войскомъ къ Зеленому Городу. Въ каждомъ Джучи-Катэмъ теперь видъть измѣнника и недостало бы веревокъ, чтобы ихъ перевѣсить. Уучи-Бушъ въ числѣ другихъ перешелъ тоже на сторону Аланча-Хана и теперь воспѣвалъ его, какъ раньше воспѣвалъ Кара-Нингиль. Надежды на спасеніе съ каждымъ днемъ оставалось все меньше и меньше, а Алана-Ханъ съ каждымъ днемъ былъ все ближе и ближе. Ему, какъ побѣдителю, сдавались одинъ городъ за другимъ и число войска увеличивалось съ каждымъ шагомъ впередъ. Уже въ самомъ Зеленомъ Городѣ появились возмутительные листы новаго хана, написанные рукою Уучи-Бушъ.

— Теперь все кончено,—сказалъ Джучи-Катэмъ, убъдившись въ тщетности всъхъ своихъ усилій.

Это извъстіе Кара-Нингиль выслушала совершенно равнодушно, точно все такъ и должно было быть. Все равно, прошлаго не воротишь а о будущемъ она старалась не думать.

- Нужно бъжать, царица,—говориль Джучи-Катэмъ. — Аланча-Ханъ подступить съ юга, а мы уйдемъ на съверъ.
- Въ Чолпанъ-Тау? обрадовалать Кара-Нингиль. — Можеть быть, еще и Байгыръ-Ханъ живъ, и я увижу его... О, скорве, скорве!..

Алтынъ-Тюлгю давно скрылась, и ее даже не разыскивали. Джучи-Катэмъ решился бежать втроемъ: онъ, Кара-Нингиль и Акъ-Бибэ. Въ ханской конюшив онъ самъ выбраль шесть лучшихъ аргамаковъ, чтобы бѣжать о дву-конь. Кара-Нингиль надъла то самое платье, въ которомъ ее привезли въ Чолпанъ-Тау, и ничего не взяли изъ ханскихъ сокровищъ. Для чего ей богатство, наряды и роскошь, когда сердце разбито? Она не согласилась бы бѣжать, если бы не желаніе увидіть въ послідній разъ милыя горы, гдв она выросла, и желаніе обнять еще разъ Байгыръ-Хана. Вёдь, умереть не все ли равно гдъ?.. Одинъ Джучи-Катомъ не думалъ о смерти, а, напротивъ, жизнь ему только что начала улыбаться. Онъ увезеть Кара-Нингиль далеко-далеко, и она опять полюбить его. Въ любомъ соседнемъ государстве его примутъ съ радостью и онъ отмстить Аланча-Хану за его измъну.

Бъглецы ушли изъ Зеленаго Города темною ночью, когда дремала вся городская стража. Впереди летълъ самъ Джучи-Катэмъ, а за нимъ уже ъхали Кара-Нингиль и Акъ-Бибэ. Такъ они мчались два дня и двъ ночи, пока не достигли Чолпанъ-Тау.

[—] Теперь мы дома, -- говорилъ радостно Джу-

чи-Катэмъ. — Аланча-Хану нужно еще идти педълю, прежде чъмъ онъ насъ догонитъ. Отдохнемъ у Байгыръ-Хана и опять въ путь, черезъ Голодную Степь.

Кара-Нингиль молчала. Ее занимало больше всего то, что гдѣ они не проѣзжали, всѣ цвѣты умирали сейчасъ же, точно за ними по пятамъ летѣла сама смерть. Это было страшное проклятіе, которое она уносила съ собой изъ Зеленаго Города.

- Что ты молчишь, царица? спрашивала ласково Джучи-Катэмъ.
- Я не царица, а Кара-Нингиль... Царица умерла... тамъ, въ Зеленомъ Городъ умерла.

X.

Байгыръ-Ханъ сначала не узналъ бъглецовъ, а потомъ обрадовался. Раньше борода у него . была бълая, потомъ пожелтъла, а сейчасъ была зеленая, какъ мохъ, которымъ обростали деревья на Чолпанъ-Тау.

 — Мы въ гости прівхали, — сказаль Джучи-Катэмъ. — Кара-Нингиль соскучилась о тебъ.

Старикъ посмотрѣлъ столѣтними глазами на Джучи-Катэмъ и только покачалъ головой: ца-

рицы о дву-конь не вздять. Потомъ Джучи-Катэмъ разсказаль все Байгыръ-Хану и ничего не скрылъ.

— Наши несчастія только велики для насъ самихъ, а если смотрѣть на нихъ издали, то дѣлаются все меньше и меньше, — отвѣтилъ старикъ. — Былъ Узунъ-Ханъ, была Кара-Нингиль, теперь Аланча-Ханъ, а послѣ него кто-нибудь другой... Весной одна трава, осенью другая, а на будущее лѣто третья. Труднѣе всего быть царемъ для самого себя... и бояться нужно тоже одного себя.

Сначала Кара-Нингиль обрадовалась, когда увидёла Байгыръ-Хана, пещеру, въ которой жила съ нимъ маленькою дёвочкой, Кузь-Тау съ ея развалиной на самой вершинѣ и всѣ тѣ мѣста, гдѣ бѣгала беззаботнымъ ребенкомъ. На горахъ цвѣтовъ не было, и это ее радовало: нечему умирать при ея появленіи. Кузь-Тау стояла голою каменистою шапкой и по ней едва лѣнились только чахлые кустики. Но потомъ Кара-Нингиль сдѣлалась опять такою задумчивой и совсѣмъ равнодушной. Она любила сидѣть у огня и смотрѣть туда, далеко внизъ, гдѣ разлеглась желтымъ ковромъ Голодиая Степь, а потомъ приноминала тѣ пѣспи, которыя когда-то пѣлъ ей Байгыръ-Ханъ.

Черезъ два дня, когда лошади отдохнули, Джучи-Катэмъ сказалъ:

- Кара-Нингиль, пора фхать.
- Куда?—удивилась Кара-Нингиль.—Я останусь здѣсь съ Байгыръ-Ханомъ, а ты уѣдешь съ Акъ-Бибэ...

У Джучи-Катэмъ опустились руки. Какъ онъ ни уговаривалъ, какъ ни упрашивалъ, какъ ни умолялъ Кара-Нингилъ, она оставалась непреклонною.

- Мит здъсь хорошо, —повторяла она упрямо одно и то же.
 - Царица, опомнись!
 - Я уже опомнилась.
- Въдь, каждый часъ дорогъ... Если тебъ не жаль себя, то пожалъй меня съ Акъ-Бибэ.
- Оставьте меня одну, а сами спасайтесь... Джучи-Катэмъ со слезами умолялъ Кара-Нингиль, но она была равнодушна и къ слезамъ.
- А! такъ ты вотъ какъ поступаешь со мной?— зарычаль онъ на нее въ страшной ярости, какъ раненый звърь.—Тогда я свяжу тебя, какъ упрямую овцу, и увезу насильно!
- Вяжи, если твоя рука подымется на такое дъло, но я живая не дамся.
- О, когда такъ, то я тебъ сдълаю самое страшное, Кара-Нингиль... Клянусь тебъ моею

съдою бородой, что сдълаю то, о чемъ ты и не думала.

- Что же ты сдълаешь?
- Что я сділаю?.. Я останусь здісь съ тобой и буду ждать и своей, и твоей смерти. Аланча-Ханъ безжалостно убьеть обоихъ, но я постараюсь умереть раньше, чтобы ты виділа мою смерть и казнилась... Ты этого сама хочешь, Кара-Ницгиль!..

Теперь Кара-Нингиль со слезами умоляла Джучи-Катэмъ бѣжать, пока есть время, а ее оставить здѣсь, но Джучи-Катэмъ оставался непреклоннымъ, какъ скала.

Прошелъ день, прошелъ другой, а Кара-Нингиль оставалась совсёмъ равнодушною къ увеличивавшейся опасности. Ей было только жаль Акъ-Бибэ, которая старалась плакать потихоньку отъ всёхъ, —вёдь, Акъ-Бибэ была еще такъ молода и ей такъ хотёлось жить.

Джучи-Катэмъ казался спокойнымъ, но часто припадалъ ухомъ къ землѣ и слушалъ,—чуткое ухо батыря слышало дальше волчьяго.

— Погоня...

Кара-Нингиль даже не оглянулась.

— Кара-Нингиль, погоня!—повториль онъ. Она оставалась неподвижною. Царица, погоня!—еще разъ повторилъ онъ и Кара-Нингиль разсмъялась.

Акъ-Бибэ громко плакала и рвала на себъ волосы въ отчаяніи.

— Если мы уйдемъ сейчасъ, то насъ не нагонять, — уговаривалъ Джучи-Катэмъ. — У нихъ лошади устали, а у насъ свѣжія... Черезъ день мы будемъ внѣ всякой опасности.

Не успѣлъ Джучи-Катэмъ договоритк послѣдняго слова, какъ въ горахъ показались уже всадники. Ихъ было много и они спускались съ горы въ долину. Джучи-Катэмъ осмотрѣлъ свою саблю, копье, лукъ со стрѣлами и сказалъ:

— Смерть близко...

Тогда на Кара-Нингиль напаль страхъ: въдь, ее могуть живую взять въ плънъ и привести въ Зеленый Городъ жалкою невольницей.

— Джучи-Катэмъ, убей меня, — молила она. — Лучше смерь, чъмъ позоръ взятой въ плънъ царицы...

Теперь засмѣялся Джучи-Катэмъ: бѣжать было поздно.

Погоня была уже близко, такъ что можно было разсмотръть высокія бараньи шапки наъздниковъ, длинныя пики съ развъвавшимися на нихъ конскими хвостами п блескъ оружія,—это была старая ханская стража, первой измѣнивпая Кара-Нингиль. Прищуриль глаза Джучи-Катэмъ и узналь Алапча-Хана, который ѣхаль въ срединѣ стражи на бѣломъ аргамакѣ.

— Я не хочу здѣсь умирать...—заявила твердо Кара-Нингиль.—Давай лошадей и ѣдемъ на Кузь-Тау. Тамъ есть отличная защита.

Джучи-Катэмъ повиновался. Со страха Акъ-Бибэ лишилась чувствъ, но Джучи-Катэмъ перекинулъ ее поперекъ сѣдла и повезъ съ собой. Кара-Нингиль уговорила ѣхать съ ними и Байгыръ-Хана, который сначала не хотѣлъ оставлять своей пещеры. Когда ханская стража подъѣзжала къ этой пещерѣ, три лошади, какъ кошки, карабкались на страшную кручу Кузь-Тау. Даже издали было страшно смотрѣть на нихъ, и сердце сжалось у самыхъ храбрыхъ.

Когда бъглецы взобрались, наконець, на самую вершину, Джучи-Катэмъ поставилъ на стъну старой башни свою пику съ конскимъ хвостомъ и, махая шапкой, крикнулъ внизъ Аланча-Хану:

— Эй, вы, трусы, кто желаеть оставить здёсь свою глупую голову?.. А тебѣ, Аланча-Ханъ, я отрѣжу уши, какъ мальчишкѣ, только покажи свой носъ сюда!

Байгыръ-Ханъ смотръль подъ гору въ другую сторону, гдъ растилась Голодная Степь, и при-

поминалъ, какъ онъ бился на Кузь-Тау еще съ Узунъ-Ханомъ.

XI.

- Имъ больше некуда уйти,—говориль Уучи-Бушъ своему новому повелителю Аланча-Хану.— Они будуть наши...
- Главное, нужно взять ихъ живыми, отвъчалъ Аланча-Ханъ.—Я никогда не видалъ эту Кара-Нингиль...
- Ихъ тамъ на Кузь-Тау двое: Кара-Нингиль и Акъ-Бибэ. Хорошо было бы захватить живыми объихъ и привести ихъ въ Зеленый Городъ закованными въ цъпи.

Аланча-Ханъ никому не говорилъ объ аячкѣ, приходившей къ нему въ Баги-Дигиштъ, и только жаждалъ увидѣть эту сказочную царицу Кара-Нингиль, о которой такъ много слышалъ. Всѣ его побѣды ничего не значили предъ этою послѣдней; пока Кара-Нингиль на свободѣ, онъ еще не ханъ. Между прочимъ, его удивляло, почему бѣглецы такъ долго оставались въ Чолпанъ-Тау и не бѣжали дальше. Лучшія лошади съ ханской конюшни спасли бы ихъ отъ погони.

— Лошадей всего шесть, а ихъ четверо съ



Байгыръ-ханомъ, — объяснилъ Уучи-Бушъ. — Они не могли бросить здъсь беззащитнаго старика...

— Ты слишкомъ много приписываешь имъ великодушія,—сердито отвѣчалъ Аланча-Ханъ.— Простая случайность...

Изъ ханской свиты сейчасъ же вызвалось нѣсколько охотниковъ взобраться на Чолпанъ-Тау и взять засѣвшую въ ней горсть храбрецовъ въ плѣнъ. Особенно волновался Уучи-Бушъ, которому Аланча-Ханъ, за его услуги подарилъ саблю. Онъ заявилъ, что самъ полѣзетъ на Кузь-Тау, если это будетъ нужно. Когда Аланча-Хану передали хвастливыя слова Джучи-Катэмъ, онъ покраснѣтъ, какъ дѣвушка: о, они всѣ дорого заплатятъ ему за этотъ послѣдній позоръ, только бы взять ихъ живыми!

Первый приступъ смѣлыхъ охотниковъ на Кузь-Тау закончился полною неудачей. Приходилось взбираться на страшную каменную кручу по одному, какъ лазятъ по горамъ аргали, и мѣткія стрѣлы Джучи-Катэмъ по одному снимали отчаянныхъ храбрецовъ—одинъ за другимъ смѣльчаки летѣли внизъ и разбивались въ дребезги. Какъ Уучи-Бушъ пи размахивалъ своею саблей, какъ ни кричалъ, бѣгая подъ горой, изъ этого приступа ничего не вышло, кромѣ пѣсколькихъ убитыхъ.

Digitized by Google

- Что же они трусять? кричаль Уучи-Бушъ.—Да я одинъ возьму это воронье гитадо...
- А что Аланча-Ханъ прячется, какъ баба?—кричалъ съ горы Джучи-Катэмъ, размахивая саблей.—Пусть идетъ сюда, а сойти съ горы я ему помогу...

Аланча-Ханъ скрежеталъ зубами въ безсильной ярости,—такъ, одного по одному, Джучи-Катэмъ перебъеть всю его свиту. Но Уучи-Бушъ утъщилъ его:

- Мы ихъ и такъ возьмемъ, потому что тамъ, на верху горы, нътъ воды...
 - Почему ты это знаешь?
 - А я слыпу но ржанью лошадей.
- Тогда мы ихъ заставимъ сдаться безъ капли крови, ръшилъ Аланча-Ханъ.

У подножья Кузь-Тау были разставлены надежные сторожа, а самъ Аланча-Ханъ разбиль свой станъ въ долинъ. Изъ его палатки видна была вся Кузь-Тау и, лежа на ковръ, онъ могъ видъть все, что дълается на ея вершинъ. Появившіяся на развалинахъ башни человъческія фигуры казались отсюда такими маленькими, какъ дътскія куклы, такъ что едва можно было отличить мужчину отъ женщины, и то благодаря только прозрачности горнаго воздуха.

Вечеромъ весело загорѣлись огни въ станъ

Аланча-Хана, который теперь отдыхаль посл'є своихъ военныхъ трудовъ и поб'єдъ. Утомленная походомъ стража тоже была рада отдохнуть. Загор'єлся огонь и за вершин'є Кузь-Тау, точно волчій глазъ. Кругомъ стояла мертвая тишина и только перекликались одн'є лошади, чуждыя челов'єческой ненависти; печально ржали аргамаки съ вершины Кузь-Тау и имъ весело отв'єчали пасшіяся на зеленой трав'є ханскія лошади.

Аланча-Ханъ весело пировалъ въ кругу своихъ ратныхъ сподвижниковъ, когда надъ Чолпанъ-Тау быстро спустилась темная горная ночь.

- Кто это поетъ?—спрашивалъ Аланча-Ханъ, прислушиваясь.
- А это безумный старикъ Байгыръ-Ханъ... Дъйствительно, это пълъ Байгыръ-Ханъ: онъ пълъ свои старыя пъсни объ Узунъ-Ханъ, о старыхъ батыряхъ, кости которыхъ разсъяны по Голодной Степи, о чудныхъ красавицахъ, уведенныхъ Узунъ-Ханомъ въ плънъ, о разрушенныхъ городахъ и певидимо въявшей надъ всъми смерти. «О, смерть любитъ храбрыхъ, пътъ Байгыръ-Ханъ, она не щадитъ и красавицъ, которыя проносятся предъ нашими глазами, какъ падающія звъзды... Гдъ стояли цвътущіе города, тамъ сейчасъ мертвая пустыпя, а гдъ стоять

сейчасть цвітущіе города, тамъ въ свое время будеть пустыня. Узунь-Ханъ, ты много пролиль человіческой крови, но тебіт не мягче отъ этого лежать въ своей могилі... Послідній біднякъ и самый великій ханъ равны въ общей судьбів. Жить страшно только подямъ несправедливымъ, а смерть любить храбрыхъ... Байгыръ-Ханъ еще разъ пришель на Кузь-Тау и будеть ждать здісь, какъ подлые трусы прольють его кровь. Не умреть только одна слава худыхъ діль и святыя півсни, въ которыхъ півцы оплакивають свою родину».

Аланча-Ханъ прослезился, слушая пѣсни Байгыръ-Хана. Горный воздухъ такъ чистъ, что доносиль къ его уху каждое слово. Задумались и тѣ храбрецы, которые мечтали о военной добычѣ, засѣвшей на вершинѣ Кузь-Тау: кто знаетъ, кому придется вернуться домой живымъ, а Джучи-Катэмъ мѣтко стрѣляетъ. Пока старикъ пѣлъ свои пѣсни, а соратники Аланча-Хана его слушали, Джучи-Катэмъ, какъ кошка, спустился съ горы. По пути онъ зарѣзалъ заслушавшагося сторожа и вернулся на гору съ водой, которую принесъ въ своей мохнатой шанкѣ.

— Вотъ, Кара-Нингиль, и вода, — съ гордостью заявилъ онъ, подавая свою мокрую папку царицъ, — а Аланча-Ханъ дуракъ... Томившіяся отъ жажды лошади весело заржали, когда почуяли свѣжесть принесенной воды. Но Кара-Нингиль не выпила ни одной канли, а отдала свою порцію Акъ-Бибэ, которая лежала больная. Джучи-Катэмъ остатки воды передалъ Байгыръ-Хану. Бѣднымъ аргамакамъ такъ ничего и не осталось и они смотрѣли на всѣхъ печальными глазами. Кара-Нингиль напрасно ласкала ихъ и давала облизывать мокрую шапку,—лошади рыли копытами землю и просили воды. Они слѣдили за каждымъ шагомъ своихъ хозяевъ и призывно ржали, нагоняя на всѣхъ смертную тоску.

- Отпустимъ лошадей... говорила Кара-Нингиль.
- Ни за что! гордо отвѣчалъ Джучи-Катэмъ. Это наша послѣдняя надежда которая умретъ вмѣстѣ съ нами... Если Акъ-Бибэ настолько поправится, что въ состояніи будетъ держаться въ сѣдлѣ, мы пробъемся мимо этихъ ханскихъ воронъ, которыя умѣютъ только пить и ѣстъ.
- Джучи-Катэмъ, у тебя желѣзное сердце... Цѣлую ночь не смыкала глазъ Кара-Нингиль и все сидѣла на верху старой стѣны, гдѣ любила сидѣть еще маленькою дѣвочкой. Здѣсь въ первый разъ замѣтиль ее орлиный взглядъ

Джучи-Катэмъ, и вотъ она опять на любимомъ своемъ мъстъ, надъ головой то же небо, тамъ, вдали, та же Голодная Степь, но теперь сама она уже не та и принесла сюда съ собой цѣлый адъ. Какъ лошади мучились отъ жажды, такъ еще больше мучилась Кара-Нингиль отъ своихъ воспоминаній. И ніть той воды, которая бы ея душу... Главный виновникъ утолила всвхъ ея несчастій, который изъ любви къ ней готовъ отдать жизнь, чуждъ ея сердцу уже давно, и ее мучить, что онъ рышился умереть за нее. О, безумець Джучи-Катэмъ, зачемъ онъ здесь? А тоть, кого выбрало ея сердце, кому отдала все, сторожить ее, чтобы насладиться ея носледнимъ позоромъ... Но этого не будеть: Аланча-Ханъ не увидить царицы Кара-Нингиль и не узнаеть въ ней любившую его аячку... Она этихъ камняхъ царицей, какъ тѣ умреть въ храбрецы, которыхъ любить сама смерть. Одинъ разъ, всего только одинъ разъ раскрылось ея дъвичье сердце и воть тяжелая плата за ея любовь... А она еще думала, что царица Кара-Нингиль не походить на другихъ женщинъ и что ей чужда слабость. Проклятый день, когда ее увидаль въ первый разъ Джучи-Катэмъ!..

Для осажденныхъ почи длинны, какъ для больныхъ. Ибсколько разъ Кара-Пипгиль про-

вѣдывала лошадей, которыя, благодаря ночной прохладѣ, замѣтно успокоились, но это былъ только обманъ, чтобы онѣ еще сильнѣе почувствовали жажду съ восходомъ солнца. То солнце, которое даетъ жизнь и движеніе всему, погубитъ ихъ всѣхъ. Кара-Нингиль тоже мучилась отъ жажды и прикладывала горѣвшую голову къ холоднымъ камнямъ.

Джучи-Катэмъ не смыкалъ глазъ и караулилъ, притаившись за камнемъ. Ночью легче было сдёлать выдазку сторожившему ихъ только устаность, вероятно, мешала сполвижникамъ Аланча-Хана воспользоваться темнотой. Къ утру Джучи-Катэмъ овладъла усталость и орлиные глаза начали дремать. Только чуткое ухо сторожило каждый звукъ, и Джучи-Катэмъ вздрагивалъ отъ малѣйшаго шороха въ камняхъ, гдф гифздились ящерицы и змфи. Утромъ, когда долина нокрылась туманомъ, небо сделалось серымъ, а камни точно отпотели, Джучи-Катэмъ забылся тревожнымъ сномъ. Онъ очнулся, когда его шею обняли двъ теплыя женскія руки, -- это была Кара-Нингиль. Она припала къ нему своею головкой и горячо поцьловала.

— Джучи-Катэмъ, я знаю твое львиное сердце...—шептала она, продолжая его обнимать,—я внаю, что ты всегда любиль меня... По у меня одна къ тебѣ просьба: уходи отсюда и забудь Кара-Пингиль. Я тебя цѣлую, какъ брата, а моя любовь тамъ, внизу... Дай мнѣ умереть здѣсь одной, и я умру, какъ царица.

— Я счастливъ...—отвъчалъ Джучи-Катэмъ, да, я счастливъ, что умру вмъстъ съ тобой, моя царица. Если жизнь насъ разлучала, то пусть смерть соединитъ... Да будетъ благословенъ тотъ часъ, когда глаза мои увидали тебя въ этихъ развалинахъ!

XII.

Проходить день надъ Чолпанъ-Тау, проходить другой. Весело пируеть Аланча-Ханъ въ своей палаткъ и все смотрить на Кузь-Тау, на вершину горы, гдъ все точно умерло. Истомившіяся отъ жажды лошади не могли больше ржать, и радуется сердце Аланча-Хана. Скоро наступить тотъ желанный часъ, когда Кара-Нингиль сдастся и онъ приведеть ее въ Зеленый Городъ своею плънницей и велитъ ее казнить, какъ Джучи-Катэмъ казнилъ Узунъ-Хана. Солнце не должно видъть ханской крови... Веселится Аланча-Ханъ и веселятся съ нимъ его спутники.

Утромъ и вечеромъ выходить изъ стана Уучи-Бушъ и кричитъ:

- -- Эй, вы, вороны, сдавайтесь... Аланча-Ханъ поступить съ вами, какъ велить его ханское сердце. Все равно, передохнете съ голода...
- Приди и возьми,—кричить съ горы Джучи-Катэмъ.—Ты, старый дуракъ, не стоишь даже того, чтобы тебя повъсить.

Ахъ, какъ мучились бѣдныя лошади на вершинѣ Кузь-Тау и какъ болѣло за нихъ сердце Кара-Нингиль!.. Онѣ уже теперь не могли ржать, а только стонали, какъ люди. По ночамъ онѣ лизали холодные камни, но днемъ солнце жгло такъ безпощадно, и лошади просто бѣсились отъ жажды и грызли другъ друга. Акъ-Бибэ лежала, какъ мертвая, и всѣхъ бодрѣе чувствовалъ себя Байгыръ-Ханъ. Каждый вечеръ старикъ поднимался на вершину стѣны и здѣсь пѣлъ свои пѣсни.

Прошелъ четвертый день, Аланча-Хану надобло ждать, и онъ ночью велблъ сдбдать вылазку, но она кончилась тъмъ, что Джучи-Катэмъ убилъ еще четверыхъ, а остальные бъжали. Изнемогавшій отъ жажды Джучи-Катэмъ чуть не умеръ отъ утомленія, и Кара-Нингиль ухаживала за нимъ, прикладывая холодные камни къ его головъ.

На шестой день умерла Акъ-Бибэ. Какъ страшно мучилась бѣдная дѣвушка и какъ она просила воды, чтобы смочить запекшійся роть, но воды не было... Ей все представлялось, что враги дѣлають новый приступъ, и она просила убить ее, а не отдавать на позоръ Аланча-Хану. Ее похоронили въ глубокомъ колодцѣ, который былъ когда-то вырыть на Кузъ-Тау. Джучи-Катэмъ горько плакалъ надъ могилой погубленной Узунъ-Ханомъ дочери, и это горе придавало ему силы.

- Не плачь, Джучи-Катэмъ, утѣшала его Кара-Нингиль, Акъ-Бибэ счастливѣе насъ... Она больше не мучится. Она не чувствуетъ жажды, позора, болѣзней, чужой и своей несправедливости.
- О, да, умереть, скоръе умереть! шепталь Джучи-Катэмъ, закрывая свое лицо руками. И ты, Кара-Нингиль, утъшаешь меня?.. Ты мое солнце, которое однимъ даетъ жизнь, а другихъ заставляетъ умирать... Я боюсь только одного: быть несправедливымъ въ послъднюю минуту и къ себъ, и къ тебъ... Ты моя Голод ная Степь, съ которой я похоронилъ все!..
- О, какъ мучилась, какъ страшно мучилась Кара-Нингиль!.. Стоило ей закрыть глаза, какъ все застилалось краснымъ огнемъ,—онъ, этотъ

огонь, пожиралъ ес. Даже ночью пе было пощады и все небо казалось кровавымъ, а звъзды смотръли съ него страшными огненно-красными глазами. Если лошади такъ страшно умирали отъ жажды, то Кара-Нингиль мучилась вдвое и нравственныя муки были тяжелье физическихъ страданій.

— Нѣтъ, я царица... царица...—шептали запекшіяся губы Кара-Нингиль, тѣ губы, которыми она цѣловала Аланча-Хана. — Онъ не увидитъ моего позора... онъ не услышитъ мольбы о пощадѣ... я—царица...

Прошло семь ужасныхъ дней и семь ужасныхъ ночей, и когда надъ Чолпанъ-Тау поднималось утреннее солнце, заключенные на вершинъ Кузь-Тау думали: это восходить наше послъднее солнце. Лица у всъхъ посинъли, исказились и сдълались страшными. Они старались не смотръть другъ на друга. У Кара-Нингиль распухъ даже языкъ, и она съ трудомъ могла говорить. Джучи-Катэмъ едва держался на ногахъ, и чтобы перейти съ одного мъста на другое, онъ употреблялъ нечеловъческія усилія. Бодръе всъхъ оставался Байгыръ-Ханъ, но онъ совсъмъ помъщался отъ голода. Смерть шла къ нимъ быстрыми шагами.

Кара-Нингиль ждала на верху стыны. О, какъ

трудно было ей подняться сюда, но это было нужно... Она смотръла внизъ, на станъ Аланча-Хана, и видъла приготовленія къ новому приступу. Если бы она могла смѣяться надъ этими храбрецами, но она только знакомъ руки пригласила на ствну Джучи-Катэмъ. Когда онъ вползъ на вершину, онъ увидълъ, что Кара-Нингиль, обнявъ кольни, плачетъ... Это были послъднія слезы Кара-Нингиль... О, сколько ненужнаго зла кругомъ, сколько ужасной несправедливости! Только одинъ человъкъ можетъ наслаждаться несчастіями и позоромъ другихъ... Женщина давно умерла въ Кара-Нингиль, и нлакала сейчасъ царица, плакала въ последній разъ. Ей вдругь сдѣлалось жаль этихъ безумцевъ съ Аланча-Ханомъ во главъ, которые съ торжествомъ и радостью готовятся схватить высохшую отъ жажды добычу, а найдутъ одного сумасшедшаго Байгыръ-Хана. Вонъ уже звучить призывная труба... вонъ пьяный Уучи-Бушъ кричить имъ:

- Я одинъ возьму васъ всѣхъ... Вы узнаете, кто такой Уучи-Бушъ!.. Эй, царица Кара-Нингиль, сдавайся на мое милосердіе!..
- Они уже идуть... шепталь Джучи-Катэмь, наблюдая поднимавшихся по каменистой

кручь враговъ. — А я не могу пошевелиться, чтобы сбросить ихъ по одному подъ гору...

— Мы будемъ свободны, прежде чѣмъ они войдутъ сюда,—отвѣчала Кара-Нингиль.

Ближе и ближе звучала военная труба... Байгыръ-Ханъ тоже былъ на стънъ и съ удивленіемъ смотрълъ кругомъ. Звуки трубы подняли въ немъ все старое, когда онъ былъ молодъ и силенъ, и старикъ, собравъ послъднія силы, запълъ:

- «О, смерть любить храбрыхъ...»
- Пора... шептала Кара-Нингиль, когда врагь уже вступиль въ развалины.

Она крѣпко обняла Джучи-Катэмъ, и они вмѣстѣ ринулись внизъ, гдѣ зіяла пропасть. Даже враги вскрикнули отъ ужаса... А Байгыръ-Ханъ все пѣлъ и смотрѣлъ безумными глазами на ворвавшихся на вершину Кузь-Тау враговъ.

Съ каменной высоты къ ногамъ Аланча-Хана скатились два трупа. Лицо Джучи-Катэмъ было неузнаваемо: такъ опо разбилось о камни. Когда Аланча-Ханъ подошелъ къ трупу женщины и заглянулъ къ ней въ лицо, онъ вздрогнулъ отъ ужаса: эта была та аячка, которая приходила къ нему въ Баги-Дигиштъ.

— Гдѣ же Кара-Нингиль? — спрашиваль Аланча-Ханъ, отступая въ ужасѣ. — Это Кара-Нингиль, — увъряль Уучи-Бушъ.—Я ли не знаю ее... Да, это она.

Аланча-Ханъ велѣлъ похоронить Кара-Нингиль и Джучи-Катэмъ на вершинѣ Кузь-Тау, а Байгыръ-Хана оставить въ его пещерѣ, гдѣ онъ жилъ раньше.

Много лѣть пронеслось надъ Чолпанъ-Тау,—
десятки и сотни лѣть. Все такою же безлюдной остается Голодная Степь, отъ Зеленаго Города остались однѣ развалины. Но такъ же высоко поднимаеть свою голову Кузь-Тау, такъ же
торчатъ на ней развалины старой крѣпости и
только крутой спускъ, гдѣ раньше лежали одни
голые камни, теперь покрытъ, какъ ковромъ,
яркими цвѣтами. Много ихъ тутъ, этихъ цвѣтовъ: розовые, синіе, желтые... Больше нигдѣ
нѣтъ такихъ цвѣтовъ, если обойти весь Чолпанъ-Тау. Народъ называетъ эти цвѣты на КузьТау «слезами царицы Кара-Нингиль».

CKABAHIE O CHEMPCKOME XAHE, CTAPOME KYTHOME.

T.

Пѣсня про сибирскаго хана, стараго Кучюма— пѣсня самая печальная и для того, кто ее поеть, и для тѣхъ, кто слушаеть. Заплакало бы небо, застонала земля: лѣса и степи покрылись бы печалью, а рѣки вскипѣли горячей кровью, еслибы нашелся человѣкъ, который съумѣлъ бы разсказать все, что было тогда, когда старый ханъ Кучюмъ сидѣть въ Искерѣ и потомъ бился съ певѣрными. Плачь, человѣкъ, если есть у тебя сердце и запасъ слезъ; плачь, кто бы ты ни былъ: вѣрный или невѣрный!..

Старая ханша Лелипакъ-Канышъ упрекала своего мужа, хапа Кучюма:

— Ты, старый Кучюмъ, сынъ Муртазы-хана и внукъ Ибакъ-хана, ты забылъ меня, забылъ, кто тебъ родилъ трехъ батырей: красавца Алея,

Абдуль-Хаира и Арсланъ-хапа. Кто лучше Арсланъ-хана провдеть на конв, кто храбрве Абдуль-Хаира, а про Алея дввушки поють пвсни въ самой Бухарв. Трехъ сыновей родила я тебв и красавицу дочь Лейле-Канышъ... Безсовъстный ты человъкъ, Кучюмъ!.. Мою красоту, которая цвътеть въ моихъ дътяхъ, твои не сытые глаза ищутъ промънять на первую, попавшуюся на глаза, дъвчонку... Мало тебв семи законныхъ женъ, мало двадцати наложницъ, мало русскихъ плънницъ, которыхъ Махметкулъ приводитъ съ Камы;—нъть, ты, какъ волкъ, забравшійся въ овечье стадо, хочешь заръзать самую лучшую овцу!..

- Молчи, Лелипакъ, молчи, отродье Шигая! отвъчалъ Кучюмъ, грозно сдвигая съдыя брови. Если бы не дъти, я давно сдълалъ бы съ тобою то же, что твой отецъ Шигай-ханъ сдълалъ съ моимъ братомъ Ахметъ-Киреемъ. Родная твоя сестра была жена Ахметъ-Кирея, а Шигай-Ханъ не постыдился убить зятя. Молчи, отродъе Шигая!..
- Я все молчала, всю жизнь молчала, Кучюмъ... Ты бралъ наложницъ я молчала, ты привелъ вторую жену Симбулу—я молчала; еще четырехъ женъ взялъ—я тоже молчала; послъднюю жену, красавицу Сузгэ, привелъ—я мол-

чала; всю жизнь провела въ молчаніи. Но ты забыль, Кучюмь, что я ханская дочь и твоя старшая жена, и что меня нельзя выгнать, какъ другихъ женъ или наложницъ. Моя кровь встанеть за мою старую голову, а твои глаза смотрять день и ночь на Карача-Куль. О, будь проклято это озеро, которое налито не водой, а моими старыми слезами... Много тамъ моихъ слезъ, Кучюмъ, и Сайханъ-Доланы не высушить ихъ своимъ двичьимъ смвхомъ, веселыми пъснями и огнемъ поцълуевъ. У нея есть свои глаза Кучюмъ, и смотрятъ они на другаго, а мурза Карача обманеть тебя. У него подъ каждымъ словомъ спрятано двѣ змѣи... О, Кучюмъ, Кучюмъ! зачъмъ хочешь ты опозорить мою старую голову и ввести новую ханшу; въдь Сайханъ-Доланьгэ — старой княжеской кости, проклятой кости Тайбуги. Когда она войдеть въ одну дверь, я уйду въ другую...

Закип'вло волчье сердце Кучюма отъ этихъ словъ, огнемъ вспыхнули глаза—старая ханша сказала горькую правду. Онъ уже схватился за кривой бухарскій ножъ, но остановился и глухо застоналъ.

— Ну, что же ты не убъешь меня?—спрашивала Лелипакъ-Канышъ. — Зачвиъ ты прячешь отъ меня свои глаза, ханъ Кучюмъ?.. Ты, который ничего не боишься и ничего не стыдишься — ты струсиль беззащитной старухи... Твое сердце давно утонуло въ чужой крови, такъ убей еще мать твоихъ дѣтей, а Сайханъ-Доланьгэ утѣшитъ тебя.

- Молчи, Лелипакъ-Канышъ: въ тебѣ сидитъ шайтанъ. Я когда нибудь вырву твой проклятый языкъ...
- А ты забыль убитаго тобой сибирскаго хана Эдигера?.. Забыль его жену, ханшу Тэсъ-Удуль, которая бъжала въ Бухару и тамъ родила сына—это кость Тайбуги и она заплатить тебъ за мои слезы. Мало тебъ этого?.. Ты же убиль и брата хана Сейдяка, храбраго Бикъ-Булата... О, Кучюмъ, Кучюмъ, ты и съ своимъ царствомъ поступаещь, какъ со мной: ты забыль и его для Сайханъ-Доланьгэ. Проснись ханъ, пока не поздно, а я не хочу накликать бъду на твою съдую голову, въ которой, какъ змъи, шевелятся черныя мысли...
- Не говори мив ничего: я знаю, что двлаю, и не тебв учить меня. Ты давно выжила изъ ума и каркаешь, какъ ворона. А мои сыновья не виноваты, что въ ихъ мать вселился шайтанъ... И Сайханъ-Доланьго не виновата, что моложе и красивве всвхъ на свътъ. Она будетъ моя, если я захочу, и ты будешь счаст-

лива, если я позволю тебъ обувать и разувать ее.

Такъ бранились и попрекали другъ друга старики. Они и не замътили, какъ вошелъ съдой, какъ лунь, Ханъ-Сеидъ, остановился у дверей и со стыдомъ въ лицъ опустилъ свои святые глаза. Лелипакъ-Канышъ уже раскрыла ротъ, чтобы бросить въ лицо мужу послъднее и самое сильное обвиненіе, но оглянулась и—смутилась. У старой ханши упало сердце со страха, и она горько заплакала.

- О, пророкъ, да благословитъ Богъ Сеида и да привътствуетъ, говорилъ Кучюмъ, кланяясь Ханъ-Сеиду въ поясъ, какъ никому не кланялся.
- О чемъ ты плачень, Лелипакъ-Канышъ, дочь Шигай-Хана? спрашивалъ Ханъ-Сеидъ, не отвъчая Кучюму. Радуйся настоящимъ горемъ и печалься настоящей радостью: такъ нужно... Ужь вороны летаютъ надъ Иртышемъ, въстепи воютъ волки, а ты ничего не бойся. У тебя останутся хоть глаза, чтобы оплакивать твое старое горе, а у другихъ и этого не будетъ. Ты сейчасъ гордилась своими дътьми, а стръла уже легла на тетиву, и много матерей не найдутъ достаточно слезъ, чтобы оплакатъ погибшихъ дътей. Твое сердце, ханша, кръпче

Искера, и въ немъ найдутъ мѣсто всѣ, кого ты любишь. Горе идетъ, какъ туча, и не останется отъ храбрыхъ ни мяса, которое могли бы ѣстъ вороны, ни крови, которую могли бы лизать собаки. Вотъ что будетъ, Лелипакъ-Канышъ! Горе побѣжденны тъ, которые будутъ рады питаться собственнымъ тѣломъ, какъ это дѣлалъ Темиръ-Ленкъ... Вотъ что я сказалъ тебъ, ханша Лелипакъ-Канышъ, а ты оставь мужчинъ пѣлать свое пѣло.

- Святой человъкъ, образумь моего мужа—
 со слезами молила Лелипакъ-Канышъ, хватаясь
 за полы зеленаго халата Ханъ-Сеида: онъ и
 себя и всъхъ погубить... Казаки ужъ плывутъ
 по Туръ и взяли городокъ мурзы Епанчи, а
 ханъ Кучюмъ думаетъ о дъвичьихъ глазахъ и
 его сердце смъется на Карача-Куль.
- Все знаю, ханша Лилипакъ-Канышъ, дочь Шигай-хана, печальнымъ голосомъ отвъчалъ Ханъ-Сеидъ. Но вотъ что я скажу тебъ: смерть близко... Смерть всъхъ сравняетъ: и богатыхъ и бъдныхъ, и старыхъ и молодыхъ, счастливыхъ и несчастныхъ. Аллахъ великъ, а мы будемъ молиться...

Лелипакъ-Канышъ поклонилась въ ноги Сеиду и вышла на євою женскую половину, а Ханъ-Сеидъ опустилъ свои святые глаза въ землю, чтобы старый Кучюмъ не видълъ глядъвшую изъ нихъ святую печаль. О святой человъкъ видълъ все, видълъ живыхъ людей мертвыми, видълъ убитыми лучшихъ сибирскихъ батырей, обезчещенныхъ женщинъ и уведенныхъ въ неволю дътей; пожары и грабежъ видълъ онъ, и еще хуже того: видълъ измънниковъ, которые притворяются храбрыми и предадутъ родину. Но ничего не могъ сказать Ханъ-Сеидъ даже Кучюму, и только святая печаль глядъла его святыми глазами.

- Кучюмъ-ханъ, сынъ Муртазы-хана и внукъ Ибакъ-хана, вотъ тебѣ мое слово, заговорилъ Ханъ-Сеидъ, не вытирая катившихся по сѣдой бородѣ слезъ. —Да, я скажу тебѣ, внукъ Ибакъ-хана: твое волчье сердце упилось давно чужой кровью, нѣтъ въ тебѣ жалости и твои враги считали за счастье умереть, только бы не понасть въ твои руки... По колѣни ты ходишь въ грѣхѣ, сынъ Муртазы-хана, и твоя сѣдая голова всегда переполнена гнусными замыслами. Ты плаваешь въ чужой крови, внукъ Ибакъ-хана и давно потерялъ счетъ убитымъ тобой... Правдули я говорю, Кучюмъ?
- Святой челов'якъ, ты все знаешь и видишь,—отв'ячалъ Кучюмъ:—но ты также знаешь и то, что вс'в ханы на св'ять одинаковы... Чъмъ

лучше меня бухарскій Абдулла-ханъ, который послаль тебя ко мнѣ, и который убиль шестнадцать братьевъ, чтобы одному завладѣть отцовскимъ престоломъ. Я убилъ хана Едигера, я убилъ его брата Бикъ-Булата, я истреблю до конца проклятую кость Тайбуги, потому что хочу быть однимъ ханомъ сибирскимъ, а Искеръ всегда будетъ моей столицей.,. Когда Чингисъ завоевалъ великую Бухару, онъ подарилъ костямъ Тайбуги всю Сибирь, а Сибирь всегда принадлежала хану-Ибаку и его кости:—я изъ кости Ибака и крѣпко держу свою отчину и дѣдину.

— Воть тебѣ еще мое слово, Кучюмъ-ханъ: идутъ на Искеръ казаки, они убиваютъ татаръ громомъ и молніей, — заговорилъ Ханъ-Сеидъ, поднимая глаза. — Вотъ тебѣ случай смыть всю кровь съ себя... Проснется твое волчье сердце, сынъ Муртазы-хана, и, когда другіе сдѣлаются данниками Бѣлаго Царя или убѣгутъ въ степь, ты одинъ будешь наводить страхъ на всѣхъ. Большое горе ждетъ тебя на каждомъ шагу, но оно покроется молодой радостью, какъ выжженная зноемъ степь покрывается зеленой травой и яркими цвѣтами отъ перваго дождя.

II.

Ночь стоить надъ Искеромъ, плачеть и стонеть подъ горой Иртышъ, а на городской стѣнѣ стонеть и плачеть Лелипакъ-Канышъ, схватившись за свою съдую голову костлявыми руками. Днемъ она все смотрить въ московскую сторону, куда увезли ея милаго сына Арсланъ-хана, а по ночамъ бродить по городу, какъ старая волчица, у которой отняли волчонка. Зачемъ она ханша, зачемъ жена Кучюма, а не простая татарка, которая умираеть на рукахъ своихъ дѣтей? Самыя бъдныя татарки теперь ужь давно спять, не спить одна ханша Лелинакъ-Канышъ и не можеть утипить своего стараго сердца... Лумаеть ли о ней Арсланъ-ханъ, сидя заложникомъ въ Москвѣ, или забылъ мать, какъ прирученный соколъ забываеть родное гиъздо? Много въ Москв'я зажилось татарскихъ царевичей, а Б'ёлый Царь опутываеть ихъ своими княжнами и помъстьями. Слышить ли твое молодое, горячее сердце, Арсланъ-ханъ, какъ убивается старухамать, или полюбилась тебъ московская неволя? Изм'єнить мужь своей жен'є, лучшая красавица полюбить другаго, самый храбрый батырь побъжить передъ кровавымъ страхомъ смерти, а

материнское сердце всегда върно себъ; не думаетъ Лелипакъ-Канышъ о четырехъ сыновьяхъ, которые у нея на глазахъ, не думаетъ о красавицъ дочери Лейле-Канышъ, а всъ ея мысли, какъ ночныя птицы надъ огнемъ, вьются около Арсланъ-хана...

Грозно шумить Иртышъ, высоко на берегу поднимается Искеръ; а кругомъ города день и ночь роють окопы, дёлають рвы и засёки. Нужно защитить городъ отъ надвигающейся московской грозы, а Искеръ-сердце Сибири. Ночью работа идеть при огняхь, и ханъ Кучюмъ самъ следить за всемъ: онъ никому не верить, кроме своего глаза. И теперь кипить работа, но Лелипакъ-Канышъ не видить огней, не слышитъ человъческихъ голосовъ и бродить по городу, какъ тынь. Развы уйдешь оть быды, еслибы поднять ствны до самаго неба и повернуть Иртышъ отъ студенаго моря къ теплому?.. Бродитъ Лелипакъ-Канышъ изъ улицы въ улицу и все чего-то ждетъ, а сама слышить, какъ бьется ея сердце въ груди. Идуть казаки, будеть война, а ея Арсланъ-ханъ все будеть томиться въ московской неволь, и не увидять его ея старые глаза. Ханъ-Сеидъ-святой человъкъ, а и онъ пичего не говорить объ Арсланъ-ханъ.

Ходить Лелипакъ-Канышъ и не слыщить кон-

скаго топота: это мчится старый Кучюмъ-ханъ на своемъ лучшемъ аргамакъ, а его прислужники едва поспъвають за нимъ, потому что быстрве коней летить ханское сердце. Мчатся за Кучюмомъ его лучшіе сов'єтники и батыри: главный совътникъ Чинъ-Мурза, братъ молодой ханши, красавицы Симбулы, мурза Булать, киргизскій царевичь Ураза-Магметь; какъ твни, летять они молча за Кучюмомъ, и только нъть въ этой свить батыря Махметкула и ни одного изъ ханскихъ сыновей. Совъстно стало Кучюму своей собственной крови, и онъ оставляеть сыновей дома... Несется ханъ Кучюмъ, несется за нимъ, какъ вътеръ, его свита, и чуть они не смяли бродившую по улицамъ Лелипакъ-Канышъ. Съ крикомъ бросилась она въ сторону, прижалась къ стънъ чужаго дома и все поняла, поняла, что такъ гонитъ Кучюма ночью, почему нать съ нимъ сыновей. Святыя слова Ханъ-Сеида не подъйствовали на него.

— О, будь проклять ты, отець моихъ дѣтей!— крикнула въ слѣдъ Кучюму старая Лилипакъ-Каныпгь, поднимая руки къ пебу. — И будь проклято мѣсто, куда тебя гонитъ твое волчье сердце!..

Но не слышить старый Кучюмь этихъ словь и несется впередъ: свои года и старость опъ оставиль въ Искеръ, а его сердце бъется молодой, горячей кровью. Раньше, также быстро леталъ онъ на своемъ аргамакъ въ Сузгунъ, что красуется надъ Иртышемъ и гдъ цвъла своей красотой ханша Сузгэ, но заросла травой дорога въ Сузгунъ, и ханскій аргамакъ безъ поводьевъ знаетъ путь къ Карача-Куль. До Карача-Куль одинъ перевздъ, но хану Кучюму онъ кажется дальше, чемъ до Ургенджа. Светлое озеро Карача-Куль совсёмъ спряталось въ зеленыхъ камышахъ, и кръпко засъль на немъ старый мурза Карача съ своимъ улусомъ. Хмуритъ онъ свои съдыя брови, когда заслышить знакомый топоть ханскаго аргамака, а его дочь, красавица Сайханъ-Доланьгэ, только смется, потряхивая золотыми монетами, которыми усыпаны ея черные волосы и бѣлая грудь. Оставляеть свою свиту ханъ Кучюмъ въ улусѣ, а самъ идетъ къ мурзѣ Карачѣ одинъ, чтобы не встревожить Сайханъ-Доланыгэ. Выходить къ нему на встръчу самъ мурза Карача и кланяется до земли.

— Да хранить богь хана Кучюма,—говорить хитрый старикь, принимая ханскаго коня.—Какая забота загнала хана въ такую пору ко мнё? Глаза стараго Карачи счастливы видёть солнце въ своемъ улусё...

Молча идеть Кучюмъ въ ставку Карачи, молча

садится на дорогой бухарскій коверь, а Сайханъ-Доланьгэ уже подносить ему чашу съ кумысомъ, и смъется ханское сердце. За Сайханъ-Доланьгэ, какъ тънь, ходить старая шаманка Найдыкъ.

- Да хранить богь хана Кучюма и пусть радуется его сердце,—говорить Сайханъ-Доланьгэ, кланяясь Кучюму въ поясъ.—И ночью ханъ Кучюмъ не спить—есть забота у хана.
- Ты давно знаешь мою заботу, Сайханъ-Доланьгэ—говорить Кучюмъ, не отрывая глазъ отъ красавицы.
 - Казаки идуть къ Искеру?..
- Искеръ крѣпко стоить и будеть еще крѣпче...
 - Не захворала ли красавица Сузгэ?
 - И Сузгэ здорова...

Сидить ханъ Кучюмъ, пьетъ кумысъ и весело болтаеть съ Сайханъ-Доланы: нѣтъ для него ни Искера, ни казаковъ, ни красивой Сузгэ. Все на свѣтѣ забываетъ ханъ Кучюмъ для своей красавицы и, оставляя ханскую гордость, поеть ей свои нѣсни, какъ самый бѣдный степной пастухъ:

Твои брови тонки, какъ новый м'всяцъ, Свежей розой заперть жемчугь зубовъ...

Весело горить молодой огонь въ твоемъ очагъ красавица,

А когда ты см'венься — ночь озаряется св'ятомъ.

Двѣ полныхъ луны стыдливо дремлють на твоей бѣлой груди.

Двѣ звѣзды смотрять изъ подъ черныхъ рѣсницъ. Но кто тоть счастливець, для котораго побѣгуть къ порогу твои маленькія ножки, А бѣлыя руки съ тонкими пальцами разоймутся сами собою?

Если бы ты взгляну. та на меня ласково—разлился бы я чистымъ серебромъ;

Въ другой—расплавился бы золотомъ! Пусть умру я мученикомъ, Но только въ твоихъ объятіяхъ...

Но я ухожу отъ тебя печальный, И сердце мое покрывается льдомъ; Во снъ я вижу тебя и мгновенно умираю, Просыпаюсь—и еще разъ умираю.

Слушаеть Сайханъ-Доланьгэ ханскую пъсню и думаеть о другомъ, думаеть о молодомъ батырѣ, который уже три раза волчыми тропами ходилъ черезъ Камень и возвращался оттуда съ богатой добычей,—по степнымъ ауламъ ужъ поють пѣсни про батыря Махметкула. Само

счастье широкой тёнью ходить за батыремъ Махметкуломъ; одно его имя наводить кровавый ужасъ на всёхъ, кромѣ Сайханъ-Доланьгэ, этой черноволосой красавицы съ розовыми ушами и тонкими пальцами. Да, ханъ Кучюмъ поетъ свои пёсни Сайханъ-Доланьгэ, а Сайханъ-Доланьгэ думаеть о батырѣ Махметкулѣ.

— Хана всѣ любять,—отвѣчаеть съ улыбкой хитрая красавица.—А я тебѣ спою, ханъ, старую пѣсню. Слушай...

Храбрый молодецъ свое копье мочить въ крови.

А безстыдникъ проводить ночи безъ сна... Такъ начиналась старая ивсня «о соломенкв», въ которой восиввались подвиги великаго хана Темиръ-Ленка. Всему научался Темиръ-Ленкъ у муравья. Это еще было тогда, когда, разбитый своими врагами, ханъ спасался въ развалинахъ какого-то стариннаго кладбища. Темиръ-Ленкъ, какъ змвя, заползъ между могильными камнями и ждалъ здвсь своей смерти. Онъ былъ одинъ, а врагъ гнался по пятамъ. Въ ожиданіи смерти, Темиръ-Ленкъ могъ наблюдать только муравья, который тащилъ длинную соломенку на могильную плиту. Сорокъ разъ онъ оборвался съ нея, а сорокъ первый втащилъ. Погоня пронеслась надъ головой Темиръ-Ленка, а онъ сдвлался,

благодаря мудрости муравья, величайшимъ изъ всѣхъ хановъ. Вотъ о чемъ пѣла красавица Сайханъ-Доланыгэ, весело позванивая своимъ дѣвичьимъ золотомъ и серебромъ.

Такъ смѣялась въ глаза надъ старымъ ханомъ Кучюмомъ капризная красавица, и онъ уѣзжалъ къ себѣ въ Искеръ, низко опустивъ голову. Но стыдъ не удерживалъ его, и ханъ опять пріѣзжалъ на Карача-Куль, а Сайханъ-Доланьго опять смѣялась надъ нимъ, спрашивая о Лелипакъ-Канышъ, о Сузго и другихъ ханшахъ. Но съ каждымъ разомъ старый Кучюмъ дѣлался все мрачнѣе и, наконецъ, сказалъ мурзѣ Карачѣ:

- Отдай мив Сайханъ-Доланьгэ, Карача...
- Оставь ханъ! этому никогда не бывать, смѣло отвѣтилъ старый мурза.—У тебя большіе сыновья отъ Лелипакъ-Канышъ, и, когда ты умрешь, они выгонятъ мою дочь иаъ ханской ставки, какъ опоенную лошадь.
 - Карача, ты забыль, съ къмъ говоришь?!

- Нѣтъ, я знаю тебя, ханъ, знаю больше другихъ... Вѣдь мы вмѣстѣ съ тобой рѣзали людей, вмѣстѣ и хана Сейдяка убили. И меня ты зарѣжешь, какъ овцу, чтобы взять Сайханъ, но самъ я все таки не могу отдать ее тебѣ.
- Я тебя осыплю золотомъ, старый упрямый верблюдъ...

— Развѣ моя дочь лошадь, что я буду ее продавать? Для этого есть невольницы, а моя дочь старой ханской крови. Отними ее силой и владѣй!..

Развѣ любовь возьмешь силой? Ханъ Кучюмъ зазывалъ себѣ шаманку Найдыкъ и уговаривалъ ее приворожить сердце Сайханъ-Доланьгэ. Хитрая Найдыкъ принимала богатые ханскіе подарки и говорила:

— Ты будешь счастливъ, ханъ, какъ никто другой...

Она то же самое говорила и батырю Махметкулу, когда онъ привозилъ ей подарки изъза Камня, съ московской стороны.

III.

Какъ огонь идеть по степи, такъ шли казаки все дальше и дальше. На переднемъ стругѣ плыветь самъ Ермакъ съ любимымъ своимъ пятидесятникомъ Богданомъ Брязгой, а на другихъ стругахъ атаманятъ Иванъ Кольцо, Никита Панъ, Матвъй Мещерякъ и Гроза Ивановичъ. Тонкими голосами запъли татарскія стрълы на Туръ, когда казаки приступили къ первому татарскому городку мурзы Епанчи. Грянулъ громъ въ рукахъ казаковъ, и бъжали татары. Такъ взятъ

быль городокъ Епанчи и другой городокъ Цимги. Помутилась вода кровью въ самомъ Тоболѣ, а казацкіе струги плывутъ все дальше.

Укрѣпленъ Искеръ; Кучюмъ засѣлъ подъ Чувашьей горой. На Иртыш' ждеть казаковь въ своемъ городкѣ мурза Атикъ, а недалеко отъ устьевъ Тобола, у бабасанскихъ юртъ, собрался цвътъ татарскаго войска съ батыремъ Махметкуломъ во главъ. Пришли на помощь вогульскіе и остяцкіе князьки, которые вмісті съ Кучюмомъ засёли подъ Чувашьей горой. Не вёрить старый Кучюмъ вогульской и остяцкой храбрости, но теперь всякая помощь дорога. Только два человъка не боятся казаковъ: старый Кучюмъ и молодой Махметкулъ, и оба они думають о лукавыхъ глазахъ Сайханъ-Доланьгэ. Какъ волкъ въ камышахъ, сидитъ Кучюмъ подъ Чувашьей горой, ждеть Махметкуль у бабасанскихъ юрть, а казаки плывуть все дальше. Запъли стрълы уже на Тоболъ и закипъла жестокая свча, какой еще не было видано: встрвтились въ первый разъ лицомъ къ лицу два батыря—Махметкуль и Ермакъ. Цёлый день они бились; какъ скошенная трава, полегли храбрые, а къ вечеру дрогнули татары, и Махметкулъ, батырь Махметкуль, бёжаль сь поля битвы... Еслибы у ночи были глаза, она плакала бы,

какъ мать, и надъ тѣми, кто честно положилъ свою голову за родину, и особенно надъ тѣми, кто позорно бѣжалъ съ поля битвы. Нѣтъ по- щады трусамъ, нѣтъ слова хуже, которымъ ихъ встрѣтитъ каждый мужчина и каждая женщина, а Махметкулъ бѣжалъ отъ Ермака, какъ заяцъ отъ охотничьей собаки. Забылъ онъ о прекрасныхъ глазахъ Сайханъ-Доланьгэ, забылъ о старой матери Кюнъ-Арыгъ, сѣдую голову которой покрылъ позоромъ.

- Нътъ у меня сына, твердила Кюнъ-Арыгъ: — это заячьи ноги, а не мой сынъ... У бабасанскихъ юртъ умерла моя радость!..
- Твой батырь Махметкуль—молокососъ и щенокъ. говорилъ старый мурза Карача дочери.—Ему бы доить кобылицъ, а не воевать... Теперь казаки пойдутъ на Иртышъ и возьмутъ городокъ мурзы Атика.

Горько плакала Сайханъ-Доланьгэ, плакала вмѣстѣ съ ней шаманка Найдыкъ, а когда двѣ женщины сойдутся вмѣстѣ, то онѣ непремѣнно что нибудь придумають. Снарядили они стараго шамана Кукджу и послали его въ Искеръ, чтобы старикъ разыскалъ тамъ батыря Махметкула и заговорилъ его сердце, — все зналъ шаманъ Кукджу и все могъ онъ сдѣлать. Онъ выгналъ злаго духа изъ Лейле-Канышъ, когда ханская

дочь совсёмъ умирала, и вернеть Махметкулу его храбрость. Сто лёть шаману Кукджу; желтая борода у него росла оть самыхъ глазъ, точно мохъ на старомъ пнё, но мурза Карача держаль его въ своемъ улуст, какъ дорогаго гостя. Хитрый Карача и столетній шаманъ молились еще старымъ богамъ,—святой Оби и буйному Иртышу.

— Ханъ Кучюмъ оставиль старыхъ боговъ, и старые боги его оставили, —говорилъ Кукджу мурзѣ Карачѣ. —Ханъ-Сеидъ съ своимъ пророкомъ не спасетъ хана Кучюма... Вотъ что видѣли столѣтніе глаза Кукджу: каждую ночь, на Иртышѣ съ татарской стороны выходитъ бѣлый волкъ, а съ московской черная собака и дерутся они до бѣлаго свѣта. Кровью покрывается вода, Иртышъ мечетъ огненныя искры, а надъ Искеромъ встаетъ московскій городъ съ бѣлыми церквями. Вотъ что видятъ столѣтніе глаза Кукджу! Еще раньше пришло въ Сибирь бѣлое дерево, а за нимъ придетъ и бѣлый царь... Вотъ что сдѣлали старые боги, которыхъ оставиль ханъ Кучюмъ!

Мурза Карача думаль одно, а вышло другое. Не боялся онь за свой улусь и даже жалѣль мурзу Атика, котораго разорить Ермакъ, — одна дорога по рѣкѣ у казаковъ. а Карача-Куль ос-

танется вправо. Позорить Ермакъ другихъ мурзъ, награбить богатствъ, можеть быть, и до Искера доберется, а по заморозкамъ уйдетъ съ добычей за Камень, какъ дѣлалъ Махметкулъ съ закамской стороной. Останется тогда старый Карача богаче и сильне всехъ, а Кучюмъ старъ, сыновья у него еще молоды, счастье перемънчиво и если Сайханъ-Доланы не суждено быть ханшей, то она будеть дочерью новаго сибирскаго хана. Не успълъ старый мурза додумать своихъ хитрыхъ мыслей, какъ на Карача-Куль налетвла гроза. Пока самъ Ермакъ отдыхалъ у бабасанскихъ юрть, атаманъ Кольцо бросился съ казаками на карачинскій улусь, точно степной вихрь, который засыпаеть пескомъ цълые города и вырываеть стольтнія деревья съ корнемъ. Не было времени даже подумать о защить, а ноги сами бъжали... Къ утру, гдъ вчера стояль карачинскій улусь, не осталось даже дыма оть пожара, а валялись одни трупы убитыхъ да выли собаки. Самъ Карача едва успълъ спастись на одной лошади съ Сайханъ-Доланьгэ. Они опомнились только въ Искеръ, куда народъ сбъгался отъ казаковъ со всъхъ сторонъ.

— Если Махметкулъ и твой отецъ не могли тебя защитить, такъ я тебя сберегу, — сказалъ старый Кучюмъ, когда увидёлъ красавицу Сай-

жанъ въ Искеръ.—Теперь ты моя гостья... Не бойся ничего, пока живъ ханъ Кучюмъ.

Ласково говорилъ старый ханъ, забывая для красавицы даже висѣвшую на носу бѣду, а та по прежнему ненавидѣла его нечистую, старую любовь и думала о Мехметкулѣ.

Всѣ мурзы и улусники Кучюма собрались въ Искерѣ. Врагъ близко, нужно подумать о своихъ женахъ и дѣтяхъ, а военное счастье измѣнчиво. Долго думали и рѣшили отправить все
имущество, женщинъ, дѣтей и стариковъ въ
степь, гдѣ красовалось ханское лѣтнее стойбище
Наоболакъ. Такъ бѣда соединила Лелипакъ-Канышъ и Сайхань-Доланьгэ, какъ зиму съ лѣтомъ, какъ вечернюю зарю съ утренней. Старая ханша не подала и виду, что ненавидитъ
свою молодую гостью, которую съ радостью задушила бы своими костлявыми руками, а теперь
должна была везти въ степь вмѣстѣ съ своей
дочерью Лейле-Канышъ.

Много было слезъ, когда начали выважать изъ Искера жены, наложницы и невольницы Кучюма, а за ними потянулись жены и двти разныхъ мурзъ. Остались въ городв только тв, которымъ некуда было бъжать, да тв, которымъ суждено было здёсь умереть. Всв руки, которыя могли еще бороться съ врагомъ, были впе-

реди, на берегу Иртыша, а впереди всѣхъ опять стоялъ батырь Махметкулъ, грозный и неприступный, какъ рѣка, которая готова выступить изъ береговъ и затопить все кругомъ.

— Будеть то, чего не миновать,—говориль батырю старый шаманъ Кукджу. — У смерти нъть глазъ, какъ и у счастья; но есть глаза у Сайханъ-Доланьгэ и онъ смотрятъ на тебя давно... Женщина — тетива, которая посылаеть стрълумужчину. Не бойся ничего: я буду съ тобой, какъ сказала Сайханъ-Доланьгэ.

Туча лежить на сердце у Мехметкула и ждеть онъ новой стчи, какъ праздника, чтобы смыть свой позоръ вражеской кровью. О, онъ утонетъ въ этой чужой крови, чтобы не слышать страшнаго слова: «трусъ». А казаки ужъ поднимаются вверхъ по Иртышу, къ городку мурзы Атика. Грозно надулась сердитая ръка, со стономъ быотся о берега съдыя волны, разсыпаясь серебряной слезой, а сверху глядить на казаковъ осеннее строе небо, холодное и суровое, какъ лицо мертвеца... Съ жалобой бъжить вътеръ по высокой степной травъ, точно онъ ищеть кого-то и тоже стонеть, какъ стонеть по ночамъ Иртышъ. Черные вороны стаей провожають казацкіе струги и ждуть кровавой добычи. Тихо въ одномъ Искерв, гдв остался святой человъкъ, Ханъ-Сеидъ... Онъ каждый день обходитъ всъ стъны и долго молится. поднявъ руки къ верху. По Иртышу къ Искеру идетъ страшное и великое горе, а надъ казацкими стругами невидимо летитъ смерть. Замерло бы въ груди сердце у самаго храбраго, еслибы онъ могъ видътъ то, что видълъ Ханъ-Сеидъ... Близится день и часъ, когда по степнымъ стойбищамъ, улусамъ и займищамъ горько заплачутъ тысячи татарокъ объ убитыхъ мужьяхъ, отцахъ и дътяхъ, а на далекой русской сторонъ отвътятъ имъ тъмъ же матери, жены и дочери казаковъ. Это судъ божій, и никто не можетъ остановить его ни на одно мгновеніе...

— О, пророкъ, дай силу Кучюму, — молится Ханъ-Сеидъ, падая ницъ. — Вотъ человѣкъ, сердце котораго не знаетъ страха и который будетъ великъ въ бѣдѣ, какъ никто другой...

Подъ Чувашьей горой сошлись храбрые грудь съ грудью, какъ еще не видалъ съдой Иртышъ. Туть были всъ мурзы и всъ князья вогульскіе и остяцкіе. Берегъ Иртыша почернъль отъ двигавшагося по немъ войска, и смерть пряталась за окопами, во рвахъ и засъкахъ. Самъ Кучюмъ здъсь, старый Кучюмъ, который сотни разъ видалъ жестокія съчи и который сейчасъ ждетъ врага, какъ дорогаго гостя. Близко казаки...

Гулкое эхо прокатилось по Иртышу отъ ихъ выстреловь, и закипела кровавая сеча. Бьются всь съ невиданной еще храбростью. Никому нъть пощады, и люди сдълались страшнъе звърей. Впереди всёхъ бьется батырь Махметкулъ, онъ выше всёхъ цёлой головой, и всё смотрять на его храбрость. Цълый день шла битва и враговъ разделила только ночь. Победа осталась неръшенной. Солнце еще не взошло, а стрълы уже запъли. Бой загорълся съ новой яростью, и впереди встхъ опять батырь Махметкулъ, который молодымъ львомъ носился по полю мертвыхъ. Мало казаковъ, а убитыхъ много. Дрогнуло сердце у самыхъ храбрыхъ. Счастье переходить къ татарамъ, еще мигъ-и посыплются казацкія головы, какъ вызрѣвшее на горячемъ солнцъ зерно. Схватился Ермакъ и двинулъ отчаянныхъ удальцевъ на засъки, гдъ скрывались остяки и вогулы Не выдержали напора эти жалкіе трусы и поб'єжали; но опять впереди всъхъ Махметкулъ и еще сильнъе напирають татары. Но вдругь не стало батыря Махметкула, и все смѣшалось. Дрогнули татары, а по полю несется страшная въсть: «паль Махметкуль, убить батырь Махметкуль»!..

Еще сильнъе ударили казаки, и побъжали татары, какъ застигнутое въ степи бураномъ стадо овецъ.

IV.

Красивое мъсто-Наоболакъ. Два степныхъ озера смотрять въ небо, какъ два свътлыхъ глаза, опущенныхъ зелеными ръсницами степныхъ камышей. Пестрымъ ковромъ облегла степь это любимое ханомъ Кучюмомъ мѣсто. куда онъ летомъ выбажаль со всеми своими женами, и гдъ веселилось ханское серпие, покрываясь новыми цв тами. Но теперь-осень; въ степи шелестить высохшая трава; давно завяли степные цвѣты, и надъ веселымъ скимъ мъстомъ черной тучей нависла печаль. Сотни кибитокъ разбиты кое-какъ, какъ громадныя тюбетейки, упавшія съ богатырскихъ головъ; горять огни, ржуть лошади, а печальныя женщины утромъ и вечеромъ смотрять въ ту сторону, гдё вольно катится Иртышъ и откуда всѣ ждуть грозныхъ вѣстей. Сбѣжались сюда женщины изъ разоренныхъ городковъ Епанчи, Карачи и Атика, а лучшее мъсто занимаетъ ставка ханскихъ женъ и наложницъ. Горе соединило всъхъ въ одно стадо, но никакое горе не заставить Лелипакъ-Канышъ позабыть молодую красоту Сайханъ-Доланьгэ, --- она каждый день у нея на глазахъ, и каждый день смертельно ноеть сердце старой ханши.

Тоскуеть и Сайханъ-Доланьгэ: молодость и красота ей въ тягость, потому что и цвъты блекнуть, когда на нихъ не смотритъ горячее солнце. Утъшаетъ дъвушку старая Кюнъ-Арыгъ мать батыря Махметкула.

- За что ненавидить меня ханша Лелипакъ-Канышъ? жаловалась ей Сайханъ-Доланьгэ. Что я сдёлала ей?,... Быть женой беззубаго старика я совсёмъ не желаю, да и сердце у Кучюма горячее не по годамъ: сегодня
 одна жена, а завтра десять новыхъ. Я лучше
 пойду за степнаго батыря, которому не на что
 купить второй жены...
- Это говорить въ тебѣ гордость, моя красавица,—стыдила ее старая Кюнъ-Арыгь и тяжело вззыхала. У всякой дѣвушки свое счастье, а когда состаришься, тогда ничего не будеть нужно...
- Но вѣдь я еще молода? Я хочу веселиться... Посмотри, какъ плачеть красавица Сузгэ, которую Кучюмъ забылъ, какъ и другихъ женъ. Она—гордая киргизка, и Кучюмъ отбилъ ее у молодаго жениха. Спроси ея брата, царевича Уразу-Магмета: онъ знаетъ, какъ она убиваласъ въ Сузгунъ... Лелипакъ-Канышъ утъщаетъ себя дътьми, а Сузгэ остались однъ ея слезы.

По вечерамъ, Сайханъ-Доланьгэ пѣла старыя пѣсни о старыхъ степныхъ батыряхъ, которыхъ любили степныя красавицы, и о великихъ ханахъ Темиръ - Ленкѣ, Чингисѣ, Искандерѣ и Бату. Хорошо пѣла Сайханъ-Доланьгэ, и около нея сбирались всѣ старухи, чтобы поплакать вмѣстѣ о настоящемъ горѣ. На эти пѣсни приходила и Лейле-Канышъ, какъ летитъ птица къ птицѣ,—она оставляла гордость ханской дочери въ своей кибиткѣ. Когда на глазахъ не было старухъ, красавицы весело смѣялись: ихъ молодая радость плавала поверхъ горя, какъ масло надъ водою. Онѣ обѣ любили батыря Махметкула и обманывали другъ друга, какъ молодыя лисицы, когда онѣ играютъ на солнцѣ.

- Зачѣмъ мы съ тобой не сестры? ласково шептала Лейле-Канышъ. — Мать не любитъ тебя, а я не могу безъ тебя жить...
- И я тоже, отвѣчала Сайханъ-Доланьгэ. Когда твой отецъ прогонитъ казаковъ, онъ отдастъ тебя въ награду Махметкулу за его храбрость... Старая Кюнъ-Арыгъ и теперь провожаетъ тебя глазами, какъ свою молодость. У нея даже глаза слезятся отъ радости... Не забудь и меня позвать къ себъ на свадьбу.
- Это будетъ, когда ледъ на Иртышѣ загорится огнемъ, — смѣялась Лейле-Канышъ.

Чёмъ казалась веселёе Сайханъ - Доланьго днемъ, тёмъ сильнёе она убивалась и плакала ночью, — молодое сердце чуяло бёду. Шаманка Найдыкъ напрасно уговаривала ее — шептала надъ ней свои заклинанія и осыпала чудесной травой.

— Твоя звъзда счастливая, — увъряла Найдыкъ. — И Кукджу тоже говорить, а онъ все знаеть, столътній Кукджу... Онъ теперь съ Махметкуломъ, какъ тънь вокругъ дерева. Кукджу сказалъ: необыкновенное счастье ждеть красавицу Сайханъ, дочь Карачи, и ты можешь спать подъ его словами, какъ подъ крышей изъ камня.

Не все говорила Найдыкъ, что знала: обманывала она и себя, и Сайханъ-Доланьгэ. Не счастье ждало красавицу, а кровавая бѣда... Разъ вечеромъ, когда Найдыкъ сидѣла передъ кибиткой у огня, въ степи показалось черное пятно. Всѣ женщины встрепенулись, какъ спустившаяся на воду стая птицъ, когда завидитъ лодку. Пятно росло и оказалось двумя лошадьми, которыхъ велъ старый Кукджу. Между лошадьми была натянута бѣлая кошма, а на кошмѣ лежалъ раненый подъ Чувашьей горой батырь Махметкулъ. Самъ Кукджу вынесъ его бездыханное тѣло изъ жестокой сѣчи и спасъ

отъ погони одолѣвшихъ враговъ, — онъ на берестяной остяцкой лодкѣ перевезъ его черезъ Иртышъ. На другомъ берегу, столѣтній Кукджу хлопоталъ возлѣ батыря, прикладывая цѣлебныя травы къ его ранамъ, и читалъ свои заклинанія, а потомъ перевезъ въ той же лодкѣ назадъ. Три дня и три ночи шли лошади съ драгоцѣнной ношей, а Кукджу шелъ впереди ихъ и собиралъ новыя травы. Махметкулъ, усыпленный питьемъ, лежалъ, какъ мертвый. Весь Наоболакъ выбѣжалъ на встрѣчу къ шаману, и женщины съ воемъ окружили его. Съ крикомъ упала на землю Кюнъ-Арыгъ, когда узнала. кто лежитъ въ кошмѣ.

— Онъ будеть живъ, твой Махметкулъ, — сказалъ Кукджу, отгоняя любопытныхъ женщинъ. — Онъ искалъ смерти и не нашелъ... Сотни матерей позавидуить твоему счастью, Кюнъ-Арыгъ.

Сайханъ-Доланьгэ уступила свою кибитку батырю, и когда Махметкулъ очнулся, — онъ узналъ ковры съ Карача-Куль. Заиграло въ немъ весело молодое сердце, и снова открылись страшныя раны.

— Вези меня въ Искеръ...—шепталъ батырь.—Хочу умереть на его высокихъ ствнахъ, а не въ женской кибиткв.

— Умрещь потомъ, когда придетъ время, — строго отвъчалъ Кукджу и опять далъ Махметкулу усыпляющаго питья.

Такъ было нужно... Женщины не смѣли плакать, и только Кюнъ-Арыгъ неоступно сидѣла въ кибиткѣ сына, какъ птица надъ выпавшимъ изъ роднаго гнѣзда птенцомъ.

Не успъли догоръть огни у кибитокъ, какъ Наоболакъ опять встрѣвожился, — вся степь точно застонала подъ конскими копытами. Заржали лошади, почуявъ верховыхъ; и скоро долетель первый топоть ханскихь аргамаковь. Это быль самь хань Кучюмь, бъжавшій изъ Искера, какъ загнанный собаками старый волкъ. Въ Искеръ веселились казаки, а хану Кучюму осталась его степь... Степь вспоила и вскормила хана Кучюма, и вдеть онъ по ней, низко опустивъ свою съдую голову. Не слышить онъ ни призывнаго ржанья коней. ни лая сторожевыхъ собакъ, точно онъ самъ остался въ Искеръ, а вмъсто него на конъ ъдеть его тънь. Не слышить онъ и провожающихъ его мурзъ и совътниковъ; за нимъ все время неслась свита убитыхъ имъ князей, мурзъ и степныхъ батырей, подъ предвотительствомъ убитаго сибирскаго хана Едигера и его брата, Бикъ-Булата... Неслышными шагами они старались обогнать

его аргамака и загородить дорогу, но Кучюмъ точно просыпался и мчался впередъ, какъ бѣшенный. Только въ виду Наоболака, отстала
отъ него эта нѣмая свита, и ханъ Кючумъ
вдругъ опустился въ сѣдлѣ и изнемогъ. Лучше
бы не видѣли его старыя глаза этого проклятаго дня, когда казаки овладѣли его сердцемъ—
Искеромъ...

— Ханъ Кючумъ, мы прівхали...—говориль Чинъ-мурза, вхавшій за нимъ вмёстё съ Ханъ-Сеидомъ.

Спѣшились мурзы и сняли шапки, ожидая, когда сойдеть съ сѣдла ханъ, а онъ все сидѣль и смотрѣлъ кругомъ, точно не понималъ, куда они пріѣхали. Женщины не смѣли плакать, задыхаясь отъ горя. Когда къ ханскому сѣдлу подошла Лелипакъ-Канышъ, Кучюмъ опомнился.

- Гд * Симбула? спросилъ онъ. Я не вижу Симбулы...
 - Она въ кибиткѣ, ханъ.
- Лучше бы ей никогда не выходить изъ кибитки, чтобы не слышать о смерти брата, мурзы Булата... Много ихъ тамъ легло въ Искеръ, и только недостаетъ моей съдой головы.

Кючумъ заперся въ своей кибиткѣ съ Ханъ-Сеидомъ и всю ночь не сомкнулъ глазъ. Онъ то плакалъ, то жаловался, то просилъ ХанъСеида убить его, стараго хана Кучюма, не умѣвшаго отстоять своего сердца — Искера. ХанъСеидъ слушалъ его молча, а потомъ громко молился. Ханъ дико смотрѣлъ на него
и все прислушивался къ тому, что дѣлается въ
стойбищѣ—ни въ одной кибиткѣ не спали, потому что всѣ или ухаживали за ранеными, или
оплакивали убитыхъ. Земля гудѣла, какъ живая: это все бѣжали со стороны Искера—кто
пѣшій, кто конный, и все привозили новыхъ
раненыхъ. Чинъ - мурза распорядился, чтобы
женщины не смѣли громко плакать и тѣмъ наводить уныніе на живыхъ, но Кучюмъ послаль
сказать:

— Пусть женщины плачутъ...

Дрогнула даже степь отъ жалобныхъ криковъ горевавшихъ женщинъ... Онъ рвали на себъ волосы, царапали до крови лица и падали на землю, отнявшую у нихъ отцовъ, братьевъ, мужей и сыновей. Убивалась и плакала ханша Симбула, которую водили подъ руки; плакали жены мурзъ и простыя татарки—горе сравняло всъхъ, какъ траву въ степи равняетъ острая коса.

٧.

Три женщины мучились въ родахъ: схватилась одна за землю-отъ нея произошли китайцы, другая схватилась за дерево-родились русскіе, за конскую гриву схватилась третья-и всъ ъздящіе на конъ считають ее своей матерью. Отъ волка зачала эта третья, и волчья кровь осталась въ степи. Поэтому не боится сердце джигита ни волчыхъ глазъ, ни волчыяго воя, а въ буранъ оно веселится, какъ на праздникъ. У первой матери смирныя дъти-не любять войны, у второй матери—дёти быють только чужихъ и чужое любять больше своего, а дъти третьей матери страшны для всёхъ-не растеть трава, гдв они пройдуть. Мірь принадлежить имъ, ъздящимъ на конъ... Но волчья кровь не знаетъ покоя: когда нътъ войны съ чужими--бьются свои. Горько оплакивала эта третья мать и раненыхъ, и убитыхъ, и взятыхъ въ плѣнъ. Она все была дома, въ своей кибиткъ, а кровавое горе ходило бураномъ по степи изъконца въ конепъ.

Такъ было и теперь... Чужая бъда радуется въ Искеръ, а своя бъда собирается въ степи,— молодой ханъ Сейдякъ вышелъ изъ Бухары, мо-

подой ханъ Сейдякъ хочетъ докончить то, что оставалось еще отъ казаковъ. Поднялась опять кость Тайбуги, и крѣпко задумались самые храбрые мурзы стараго хана Кучюма.

- О, пророкъ, да благословитъ богъ Сеида и да привътствуетъ! говоритъ ханъ Кучюмъ Ханъ-Сеиду, ты пришелъ ко мнѣ изъ Ургенджа, тебя послалъ бухарскій ханъ Абдулла-ханъ... Зачѣмъ Абдулла-ханъ выпустилъ изъ Бухары молодаго Сейдяка? Вмѣсто одного врага, у меня теперь два... Это казакамъ на радостъ, когда двѣ кости схватятся въ степи.
- Богъ великъ, ханъ Кучюмъ, а будущее неизвъстно, отвъчалъ Ханъ-Сеидъ. Вотъ ты жалуешься, какъ женщина, которая умъетъ только прясть шерсть... Дълай то, что дълалъ: ты стоишь впереди всъхъ. Не бойся ни молодаго Сейдяка, ни ногайской орды у каждаго своя дорога. Не все ли равно: одна или двъ бъды...

Опять ударили большіе бубны, и собрались около Кучюма всё большіе люди — князьки, мурзы, батыри; ударили малые бубны, и сбёжались къ Кучюму всё, кто могь ёздить на конё. Двойная бёда удвоила силы стараго хана; онъ даже забыль о красивыхъ глазахъ Сайханъ-Доланьгэ, которая больше не пёла своихъ пёсенъ Боевая стрёла, какъ молнія, облетёла самые

дальніе улусы и стойбища, вызывая всёхъ въ поле. Убьють казаки десять человёкъ, а на ихъ мёсто выходять новыхъ десять, какъ весенняя трава смёняеть прошлогоднюю.

Долго не уходить степная зима; новый снъть засыпаеть весеннія проталины, а тронувшаяся днемъ вода застываеть ночью. Но уже летять птицы съ теплаго моря, заиграли ръчныя верховья, и зеленымъ бархатомъ одъла первая весенняя трава ръчные берега. Да, птицы летять къ оставленнымъ гнъздамъ, на знакомыя стойбища, и по небу вмъстъ съ ними несется веселый крикъ. Только ханъ Кучюмъ не вернется больше на старое гнъздо, на высокій берегъ Иртыша, гдъ красуется Искеръ, и его сердце стонетъ, какъ выбившаяся изъ силъ перелетная птипа.

— Кто помъряется силой съ Ермакомъ?— спрашиваетъ ханъ Кучюмъ.

Мурзы, князьки и батыри только переглядывались, а отв'вчаль одинь батырь Махметкуль, только что оправившійся посл'є тяжелыхъранъ:

- Я убью Ермака, ханъ Кучюмъ... Только бы мнъ выманить его изъ Искера въ чистое поле.
- У тебя храброе сердце Махметкулъ, отвъчаетъ ханъ Кучюмъ,—но Ермакъ старше тебя, а когда старый коршунъ спить сытый на

высокомъ деревъ, коршунята еще голодаютъ...

Обидное слово только разожгло еще больше Махметкула, а на стараго хана сердиться не стоило. Два свътлыхъ глаза посылали батыря туда, откуда немногіе возвращаются.

— Я выду замужъ за того, кто убъетъ Ермака—говорила Сайханъ-Доланьгэ.—Убъетъ старый человѣкъ—онъ помолодѣетъ со мной, убъетъ молодой—будемъ радоваться. Храбрѣйшему изъхрабрыхъ моя красота будетъ наградой...

Махметкулъ уже напередъ видълъ красавицу своей, потому что кто же храбръе его отъ студенаго моря до теплаго? Только столътній шаманъ Кукджу качалъ своей головой: дъвичьи слова, какъ зеленые листья на деревъ—сегодня выросли, завтра опали, а Ермака не возьметъ ни сабля, ни стръла. Въ желъзо заковано его сердце...

Какъ молодой левъ одинъ выходитъ по ночамъ на добычу, такъ отдълился отъ остального татарскаго войска батырь Махметкулъ. Онъ ушелъ на ръку Вагай съ небольшимъ отрядомъ и тамъ хотълъ выждать Ермака. Развеселилась и ты, маленькая ръчка Вагай, разлилась отъ весенней воды и вышла изъ береговъ, а каждая твоя капля тянулась къ большому Иртышу, какъ маленькое горе къ большому. Мутна вода въ Вагаъ, хитрыя

мысли въ головъ стараго атамана Ермака, который засъль въ Искеръ, какъ травленный звърь. Въ темную ночь это было, какъ накрыли казаки на Вагаъ татарскую славу. Горько застонала старая Кюнъ-Арыгъ, когда узнала о всемъ случившемся на Вагаъ. По стойбищамъ, улусамъ, зимовьямъ и ауламъ стрълой разнеслась печальная въсть, но женщины не будутъ пъть славу Махметкула... Лучше было Махметкулу умереть у бабасанскихъ юртъ или подъ Искеромъ, а не попадать живому въ руки казаковъ. Утонула слава батыря Махметкула въ далекой Москвъ.

— Для чего я мучилась, когда родила Махметкула?—повторяла неутъшная Кюнъ-Арыгъ, обезумъвшая отъ горя. — Для чего я плакала цълые дни и ночи, когда онъ волкомъ ходилъ за Камень? Зачъмъ я лъчила его глубокія раны, отъ которыхъ ему лучше было бы умереть у меня на рукахъ?

Вмъстъ съ неутъшной матерью плакали всъ другія женщины,—всъмъ имъ было жаль Махметкула, какъ свою кровь.

— Я его считала своимъ сыномъ, —говорила Лелипакъ-Канышъ, ухаживавшая за Кюнъ-Арыгъ, какъ сестра. —Твое горе — мое горе, Кюнъ-Арыгъ. Вотъ и Лейле-Канышъ убивается, какъ не плакала о родныхъ братьяхъ, и Сайханъ-Доланьгэ...

Мы, старухи, теряемъ только сыновей, а наши дввушки теряютъ все.

Кюнъ-Арыгъ не понимала ласковыхъ словъ Лелипакъ-Канышъ. Она походила на старое большое дерево, разбитое грозой: еще остались вътви съ зелеными листьями, но нѣтъ въ немъ больше жизпи. Она даже не плакала, какъ другія женщины, а только стонала. Мужчинамъ было стыдно слушать эти стоны, особенно когда Кюнъ-Арыгъ начинала упрекать.

— Одинъ былъ храбрый изъ батырей—и вотъ онъ въ позорномъ плѣну! — кричала старуха, бѣгая по стойбишу съ распущенными волосами.— Кто же защитить его? Кто выручить изъ неволи?.. О. будьте вы всѣ прокляты, тѣ трусы, которые продали моего сына... Я сама пойду къ атаману Ермаку и скажу: «это я, мать Махметкула, пришла къ тебѣ... Въ степи нѣтъ храбрыхъ, а только робкія женщины. Отдай мнѣ сына, отдай Махметкула... Еслибы я была богата, я заплатила бы тебѣ золотомъ; еслибы я была молода—своей красотой; а теперь я старуха и могу только плакать».

. Обидно было слушать эти горькія слова всёмъ, но никто не рёшился унять обезумёвшую оть горя Кюнъ-Арыгь. Хмурится старый ханъ Кучкомъ: слова старухи впивались въ его сердце,

какъ стрвин; хмурятся старые мурзы и батыри, и думаеть за всёхъ одинъ Карача, у котораго въ головъ мысли бъгали, какъ лисицы въ норъ, когда ихъ подкуривають дымомъ. Старый Карача зналъ, что Ермакъ, не будеть держать Махметкула въ Искеръ, а отправить поскоръе въ Москву, --- слишкомъдорогую добычу не держать дома. Такъ оно и вышло: Махметкула увели въ московскую неволю по той дорогь, по которой онъ еще недавно ходилъ весенней грозой за Камень. Затихла степь, затихъ Искеръ. Объ стороны собирались съ силами, чтобы продолжать войну. Ермакъ ждалъ атамана Кольцо, посланнаго въ Москву съ повинной къ бълому царю. Только осенью вернулся Кольцо и привезъмилостивое царское слово казакамъ, а Ермакушубу съ царскаго плеча да тяжелую кольчугу. Веселится Ермакъ въ Искеръ, веселятся съ нимъ всѣ казаки, а бѣда уже пришла къ самому Искеру, пришла съ покорнымъ словомъ и ласково смотрить прямо въ глаза. Говорить Ермаку посоль мурзы Карачи:

— Было царство сибирское и владѣлъ имъ ханъ Кучюмъ, а теперь владѣетъ Бѣлый царь. Не стало силы въ степи, изнемогли татары, а наши враги-ногаи разоряютъ наши степные аулы. Возьми насъ, Ермакъ, подъ свою защиту

и пришли казаковъ, чтобы побили ногаевъ. Мы честно бились, а ногаи—разбойники, которые грабять убитыхъ или беззащитныхъ женщинъ.

Не обмануль бы мурза Карача хитрымъ словомъ, но ослѣпила Ермака покорность. Повѣрилъ онъ бѣдѣ Карачи и послалъ ему на выручку своего лучшаго атамана Кольцо съ казаками; самъ послалъ, чтобы больше не видѣть его. Какъ весной оплакивалъ ханъ Кучюмъ своего лучшаго батыря Махметкула, такъ осенью Ермакъ заплакалъ по лучшемъ своемъ атаманѣ, попавшемъ въ хитрую западню. Нѣтъ жалости въ сердцѣ Карачи, и зарѣзалъ онъ Кольцо и всѣхъ посланныхъ съ нимъ казаковъ, а голову атамана послалъ неутѣшной Кюнъ-Арыгъ.

VI.

Черной тучей облегла бѣда со всѣхъ сторонъ сибирскаго хана Кучюма: онъ потерялъ ханство, столицу Искеръ, двухъ сыновей, и послѣдній свѣтъ изъ глазъ выкатился у хана Кучюма.

— Глаза не будуть больше тебя обманывать и не будуть искать новыхъ красавицъ,—корить его ханша Лелипакъ-Канышъ.—Услышалъ Богъ мои старыя слезы...

Ничего не могъ отвътить женъ старый ханъ,

да и что могь сказать человъкь, котораго водили подъ руки? Но чемъ больше была беда, тъмъ сильнъе становился старый ханъ Кучюмъ: и слепой онъ нагоняль страхъ на казаковъ и ногаевъ съ Сейдякомъ. Оставались у него еще мурзы и совътники, которые исполняли ханскія слова. Своими слъпыми глазами онъ видълъ тайные замыслы своихъ лучшихъ совѣтниковъ и молчаль. Первый захотёль измёнить ему мурза Карача, убившій двухъ казацкихъ атамановъ. Счастье отуманило голову стараго мурзы, и онъ замыслиль одинь взять Искерь. Набраль онъ бродившихъ по степи татаръ изъ разоренныхъ улусовъ, пригласилъ киргизовъ и ногаевъ, и съ этой силой обложиль Искерь. Мало казаковь въ Искеръ, а помощь далеко, -- этимъ и хотълъ воспользоваться хитрый мурза. Главный стань у Карачи быль подъ Сауксаномъ, и весной онъ заперъ Ермака въ Искеръ, какъ медвъдя въ каменной берлогъ. Мало казаковъ, и нельзя имъ выйти изъ города, а Карача захватиль всё дороги и хвастается: «голодомъ заморю московскихъ батырей... Сами придуть съ повинной ко мнъ въ Сауксанъ».

Мѣсяцъ стоить мурза Карача подъ Искеромъ, стоить второй, и третій стоить, а все держатся казаки. Посылаеть Кучюмъ сказать мурзѣ Карачъ, чтобы не тратилъ напрасно времени и поберегъ татарскую силу, но далеко зашелъ старый Карача, чтобы идти ему съ повинной къ хану Кучюму. Тесно имъ двоимъ въ степи... Нъть пощады у хана Кучюма, нъть пощады и у мурзы Карачи. Пусть пока ханъ Кучюмъ воюетъ съ ногаями, а мурза Карача успеть въ это время отнять у казаковъ Искеръ. Ханъ Кучюмъ старъ и слъпъ; сынъ Едигера, ханъ Сейдякъ, еще молодъ, а мурза Карача самъ будеть сибирскимъ ханомъ. Такъ думалъ мурза Карача, сидя въ Сауксанъ, а Ермакъ отсиживался въ Искеръ. Хитръе Ермакъ хитраго татарскаго мурзы и ждеть только темной летней ночи... Два атамана остались у Ермака: Мещерякъ да Брязга, какъ два глаза. Когда наступила темная ночь, тихо вышли казаки изъ Искера, прокрались въ татарскій станъ и начали жестокую свчу. Это быль атаманъ Мещерякъ, а самъ Ермакъ оставался въ Искеръ. Сонные татары не узнавали другь друга и бросились бъжать. Напрасно самъ Карача съ двумя своими сыновьями бросился впередъ на казаковъ — татары бъжали, какъ зайцы. Бъжаль и самъ мурза Карача, оставивъ сыновей убитыми подъ Искеромъ.

Какъ бъщеный, несется въ степи мурза Карача, и все ему кажется, что за нимъ погоня.

Слёзеть съ коня, припадеть ухомъ къ землё, а подъ землей-глухой стонъ и конскій топоть... Опять летить Карача, опять прислушивается: тоть же топоть и тоть же стонь, и съ каждымъ разомъ все ближе и ближе. Нътъ спасенья старому Карачъ, если во-время не доберется онъ до ногаевъ. Молодой ханъ Сейдякъ приметъ его съ радостью, а старый ханъ Кучюмъ зарёжеть, какъ старую собаку. Нътъ конца-края степи, и загналъ Карача уже двухъ лошадей, — осталась послёдняя, третья, и, если она не вынесеть, -- пропало все. Мурза Карача чувствуеть, что и голова какъ будто ужъ не его и готова сама отдёлиться оть туловища. Быль день или стояла ночь — мурза не различаль. Два дня и двъ ночи несется онъ въ степи. Трегья лошадь стала задыхаться—это пришель конець хитрому Карачъ. Но все-таки ъдеть онъ все впередъ и видить: точно изъ подъ земли выросъ передъ нимъ всадникъ. Ближе-всадникъ больше и машеть ему копьемъ. Это сторожевой Кучюма, поставленный ловить его. Пригнулся Карача къ съдлу, вытянулъ пику и понесся впередъ на всадника: все равно умирать... Но что это значить: всадникъ бросилъ свое копье на землю и спокойно ждеть его. Пріостановиль своего скакуна мурза Карача и узналъ самого Ханъ-Сеида.

Да, это быль онъ, святой старикъ, съ своей бълой бородой.

— Куда ты бѣжишь, Карача?—говорить Ханъ-Сеидъ.—Остановись... Ты налетишь на Кучюма и не сдобровать твоей головѣ.

Опустились руки у Карачи: онъ вхалъ къ ногаямъ, а попалъ на Кучюма. Обманули его свои собственные глаза, обманула неоглядная степь... Слъзаетъ Карача съ коня, бросаетъ свою пику на землю и говорить:

- Некуда мнѣ больше бѣжать, Ханъ-Сеидъ... Веди меня къ Кучюму, пусть онъ сниметь съ меня голову: не нужна она мнѣ.
- У хана Кучюма такое же безжалостное сердце, какъ и у тебя,—говоритъ Ханъ-Сеидъ.—Ты—кремень, онъ—сталь, а когда ударятъ сталь о кремень, то полетятъ искры...

Не слушаеть ничего мурза Карача, а паль на землю и говорить:

- Дѣти мои, дѣти... гдѣ мои сыновья? Ханъ-Сеидъ, два сына были у меня, а теперь я одинъ... Одинъ я, Ханъ-Сеидъ, и пусть ханъ Кучюмъ лучше зарѣжетъ меня, какъ барана.
- Такъ было нужно, мурза Карача, кость Тайбуги, отвъчалъ съ печалью Ханъ-Сеидъ. Но ты забылъ о дочери, забылъ о красавицъ Сайханъ-Доланьгъ...

Засмѣялся мурза Карача... Что онъ будеть дѣлать съ красавицей дочерью, когда у него ничего нѣть?.. Первый встрѣчный возьметь его дочь, красавицу Сайханъ-Доланьгэ, уведеть плѣнницей въ Бухару и продастъ Абдуллѣ-хану въ невольницы,—воть что значить дочь... Слѣпой Кучюмъ ужъ не думаеть о красавицахъ, а батырь Махметкулъ въ московской неволѣ,—для чего ему Сайханъ-Доланьгэ?.. Трава въ полѣ—вотъ что такое дочь; вешній ледъ на рѣкѣ—вотъ что такое дочь; вешній ледъ на рѣкѣ—вотъ что такое дочь. Было у него два сына, а теперь онъ одинъ, какъ старый пень въ лѣсу! Лежитъ мурза Карача на землѣ, лежитъ и громко стонеть, какъ слабая женщина, какъ ребенокъ, потерявшій мать.

- Ты забыль, что твоя Сайхань-Доланьге въ рукахъ Кучюма,—говориль Хань-Сеидь.—Она теперь его плънница...
- Моя дочь? Ты говоришь о Кучюмъ, который для нея забыль свою съдую бороду?... Что же, пусть береть ее силой. Я ему давно это говориль. Но ханъ добивается того, чего нельзя сдълать противъ желанія: Сайханъ никогда не нолюбить его. Да и смъшно думать объ этомъ дряхлому и слъпому старику...
 - Ты ничего не понимаешь, мурза!
 - Убей меня, Ханъ-Сеидъ:---мнъ некуда

идти... Не все ли равно, кто меня заръжетъ: ханъ Кучюмъ или ногай.

Ночью провель Ханъ-Сеидъ упавшаго духомъ Карачу въ станъ Кучюма и спряталъ въ кибиткъ Сайханъ-Доланьгэ.

— Пока сиди здъсь, а тамъ увидимъ...—сказалъ Ханъ-Сеидъ.

Съ удивленіемъ смотрѣлъ кругомъ мурза Карача: и самъ онъ еще живъ, и сидитъ въ кибиткъ своей дочери Сайханъ-Доланьгэ. Впрочемъ, у него только и оставалось на свътъ, что свътлые глаза этой красавицы, а все остальное точно развъяно по вътру.

VII.

Старая ханша Лелипакъ-Канышъ попрекаетъ слѣпаго хана Кучюма:

— Что ты все лежишь, Кучюмъ, и нейдешь провѣдать любимаго своего мурзу и совѣтника Карачу: онъ всегда обманываль тебя, какъ твои несытые глаза... Карача выискиваль тебѣ новыхъ наложницъ, онъ тебѣ доставилъ и красавицу Симбулу, и другую красавицу Сузгэ, и готовилъ тебѣ третью, свою родную дочь. Иди утѣшь своего вѣрнаго слугу, который хотѣлъ вмѣсто тебя сѣсть ханомъ въ Искерѣ... Иди

утёшь Сайханъ-Доланьте, которая все еще не можеть оплакать уведеннаго въ плёнъ Махметкула. Всё тебя покинуть, ханъ Кучюмъ, и останусь около тебя одна я, какъ застарёлая болёзнь, какъ вторая твоя слёпота... Что же ты молчишь, ханъ Кучюмъ?

- Ты говоришь правду, Лелипакъ-Канышъ,— отвъчалъ ханъ Кучюмъ, качая головой.—Твой языкъ, какъ степная колючая трава, колетъ мои слъпые глаза. Мнъ было бы легче, еслибы ты говорила меправду.
- Богъ тебя наказаль за мои слезы, ханъ Кучюмъ...Да развъ я одна плакала отъ твоей желъзной руки? Сколько матерей осиротиль ты сколько молодыхъ женщинъ осталось вдовами; и старики, и дъти проклинають твое имя, которое носилось по степи, какъ ядовитая зараза... Я тебя проклинаю, ханъ Кучюмъ; проклинаю за свою материнскую кровь, за Арсланъ-султана, котораго ты послалъ въ московскую неволю, за двухъ другихъ сыновей, убитыхъ подъ Искеромъ,

Молчить хань Кучюмь, трясется его сѣдая голова, а слѣные глаза не видять старой ханши? которая въ неистовствѣ поносить мужа всякими худыми словами. И земля, и небо закрыты для стараго хана Кучюма, а осталось одно черное горе...

Старики не слыхали, какъ въ кибитку вошелъ Ханъ-Сеидъ и былъ свидътелемъ ссоры. Онъ выслушалъ все, опустивъ свои святые глаза, а потомъ взялъ слъпаго хана Кучюма за руку и вывелъ изъ кибитки. Старая ханша сидъла на землъ и, припавъ съдой головой къ колънямъ-горько плакала. Въ кибитку опять вошелъ Ханъ-Сеидъ и сказалъ:

— Лелипакъ-Канышъ, дочь Шигай-хана, я все слышалъ. Слышалъ и то, чего не сказалъ твой языкъ, и скажу тебѣ то, что чуетъ твое материнское сердце.

Но, прежде чѣмъ говорить, Ханъ-Сеидъ опять замолчалъ, чтобы старая ханша впередъ выплакала свое горе. Пока она плакала и жаловалась святой старикъ молился, поднявъ руки кверху. Много женщинъ плакало по татарскимъ улусамъ стойбищамъ и ауламъ, и всѣмъ имъ было тяжело.

- Я слушаю, Ханъ-Сеидъ,—говорила Лелипакъ-Канышъ, не вытирая катившихся по сморщенному лицу слезъ.
- Слушай, дочь Шигай-хана... Не я тебъ говорю, а говорить пророкъ. Томится въ неволь твой сынъ Асланъ-султанъ, а другая неволя уже готова Абдулъ-Хаиру. Такъ нужно, Лединакъ-Канышъ! Ты стоишь впереди всъхъ, и твое

горе бъжить впереди всъхъ. Два сына у тебя убито подъ Искеромъ, будеть твой последній сынъ, красавецъ Алей, ханомъ въ Искеръ, но ты будешь оплакивать его голову. Старый ханъ Кучюмъ будеть счастливъ, что не увидитъ своими слѣпыми глазами послѣдняго горя... Три сына убитыхъ, два въ неволъ, а ты стара, Лелипакъ-Канышъ, и твое сердце затворилось давно. Ты, дочь Шигай-хана, какъ великая ръка Обь, покрытая льдомъ. Воть, что я скажу тебъ ханша, потому что такъ нужно... Гордилась ты своими пятью сыновьями, а останется одно твое старое горе, и твое сердце заплачеть кровавыми слезами. Да, заплачеть мать, а ханша будеть радоваться: великая радость умереть за родину... Такая кровь пролилась за святое дъло. Воть что я тебъ говорю, дочь Шигай-хана, и укръпится твое сердце до конца: оно кръпче Искера. Твоя весна улетъла и твои глаза не увидять новыхъ сыновей, а ханъ Кучюмъ останется безъ племени. Кто будеть продолжать его волчью кость? Когда Кучюмъ умреть, кто выдеть въ поле противъ враговъ? Слушай, дочь Шигай-хана: ты смёнлась надъ красавицей Сайханъ-Доланьгэ, а теперь пойдешь къ ней и попросишь-замънить ея красотой твою старость. Разгорится сердце хана Кучюма и продолжится его волчья кость... Оставь свою гордость, Лелипакъ-Канышъ: ты стоишь впереди всѣхъ, и твое горе бѣжить впереди всѣхъ.

Пала на землю ханша Лелипакъ-Канышъ, какъ подрубленное дерево, и долго лежала она, какъ мертвая, а святой старикъ опять молился, поднявъ руки кверху. Наступила ночь, когда она очнулась и сказала:

— Ханъ - Сеидъ, ты здёсь? Веди меня къ Сайханъ-Доланьгэ... Я хочу ее видёть.

Собрала последнія силы старая ханша и пошла за Ханъ-Сеидомъ. Встречавшіеся давали имъ дорогу, а у кибитки Сайханъ-Доланьго встретиль ихъ старый шаманъ Кукджу и шаманка Найдыкъ. Побледнела красавица Сайханъ-Доланьго, когда къ ней въ кибитку вошла старая ханша Лелипакъ-Канышъ и посмотрела на нее заплаканными глазами.

— Здравствуй, Сайханъ-Доланьгэ, — сказала ханша. — Видишь, я пришла къ тебъ... Пусть мужчины уйдуть, я хочу говорить съ тобой.

Еще сильнъе поблъднъла Сайханъ-Доланьгэ, когда они остались въ кибиткъ вдвоемъ. Долго молчала Лелипакъ-Канышъ и все смотръла на Сайханъ-Доланьгэ.

— Что ты такъ смотришь на меня, хан-

ma?—спросила смущенная Сайханъ-Доланьгэ.— Я боюсь тебя.

— Любуюсь твоей красотой, Сайханъ-Доланьгэ; любуюсь твоей молодостью и точно вижу себя, когда я была молода и красива. Себя я вижу въ тебъ, красавица! Раньше я ненавидъла тебя, когда ханъ Кучюмъ вздиль веселиться на Карача-Куль; раньше я желала тебъ всякаго зла и радовалась, когда твое сердие заплакало о батыръ Махметкулъ. Да, все это было, а теперь гордая, старая ханша пришла сама къ красавицъ Сайханъ-Доланьгэ. Тебя ненавидъла жена хана Кучюма, а старая бездътная ханша пришла со слезами просить — замънить ея старость.

Поблѣднѣла Сайханъ-Доланьгэ, какъ сорванный цвѣтокъ, а Лелипакъ-Канышъ все говорила, говорила то, что ей сказалъ святой Ханъ-Сеидъ.

— Лучше мив умереть...—шентала Сайханъ-Доланьга, закрывая свои бархатные глаза. — Я никогда не любила стараго хана Кучюма, а слвнаго старика ненавижу! Это падаль, которую не будеть всть даже собаки.. Я ненавижу и тебя, Лелипакъ-Канышъ! Ты, какъ холодная вивя, занолята въ мою кибитку.!. Не достанется никому моя красота, такъ скажи и Хану-Сеиду. Не хочу я даже видѣть слѣнаго старика и лучше умру дѣвушкой.

Степная ночь раскинулась синимъ, расшитымъ золотомъ шатромъ надъ стойбищемъ хана Кучюма. Громко рыдаетъ въ своей кибиткъ Сайханъ-Доланьгэ, а у входа въ кибитку стоятъ Ханъ-Сеидъ и шаманъ Кукджу. Старики долго шепчутся и ждутъ, когда выдетъ Найдыкъ и скажетъ, что можно видътъ Сайханъ-Доланьгэ. Плыветъ по небу молодой мъсяцъ, гдъ-то далелеко кричитъ ночная птица, а Сайханъ-Доланьгэ все плачетъ... Вышла и Найдыкъ и поманила рукой Кукджу, — двъ тъни вошли въ кибитку. Столътній Кукджу наклонился надъ красавицей Сайханъ-Доланьгэ и шепчетъ ей:

 Смотри на меня, красавица, пристально смотри и увидишь великое чудо.

Страшно стало Сайханъ-Доланьгэ, но она не можеть оторвать своихъ бархатныхъ глазъ отъ лица Кукджу. Ахъ, какое старое-старое это лицо, покрытое такими глубокими морщинами, точно земля, растрескавшаяся въ засуху. Заросло оно все волосами, какъ желтымъ мохомъ, и только свътятся одни глаза. Смотритъ Сайханъ-Доланьгэ, и смотритъ на нее Кукджу, а синія губы шамана беззвучно шевелятся—онъ шенчетъ свои заклинанія. Чувствуетъ Сайханъ-

Доланьгэ, что ей легче и что горе неслышно отлетьло отъ нея. Все шепчетъ Кукджу и еще пристальные смотритъ на красавицу, а Сайханъ-Доланьгэ видитъ себя уже матерью. Два ребенка сына смотрятъ въ нее глазами хана-Кучюма. И страшно, и хорошо дълается Сайханъ-Доланьгэ, и чувствуетъ она, что любитъ стараго хана, любитъ въ своихъ дътяхъ, въ которыхъ проснулась кость стараго хана-Ибака.

— Мит хорошо,—шепчеть Сайханъ-Доланьго и не можеть очнуться оть чуднаго сна.

А старый шаманъ Кукджу все шепчеть и протягиваетъ свои костлявыя, узловатыя руки надъ головой Сайханъ-Доланьгэ, точно столътнее дерево простираетъ свои вътви надъ молодой зеленой травкой.

— Ты полюбишь стараго хана Кучюма, какъ не любила бы никогда десять лучшихъ батырей, — шепчетъ Кукджу. — Смотри, что будеть дальше...

Степь. Трава точно вспрыснута драгоцівнными камнями. Вольная степная птица серебромъ развивается въ воздухі. По степи медленно двигается разбившееся кучками татарское войско, а тамъ вдали пылають русскія села и столбы дыма показывають кровавый слідъ уходящаго войска. Много русскихъ плінниковъ

ведуть татарскіе батыри; оть богатой добычи не могуть идти кони, а впереди всёхъ ёдеть старикь сь бубномъ и громко поеть славу стараго хана Кучюма и его молодыхъ сыновей-Кучюмовичей. Бьеть въ бубенъ старикъ и поеть про молодую ханшу Сайханъ-Доланыгэ, красота которой цвётеть въ ея сыновьяхъ, и о которой поють въ святой Бухарѣ, какъ о лучшей степной звёздѣ, освётившей очи стараго хана Кучюма. Проснулась кость хана-Ибака, какъ зерно, брошенное осенью въ сырую землю...

Видить свой сонъ Сайханъ-Доланьгэ, сладко дышеть ея молодая грудь и не можеть она проснуться, а Ханъ-Сеидъ вводить въ палатку слѣнаго хана Кучюма, который руками ищетъ потерянную глазами красоту.

— Я тебя люблю, Кучюмъ...—шепчетъ Сайханъ-Доланьгэ, просыпаясь,

VIII.

Степью идеть молодой ханъ Сейдякъ, сынъ Едигера; за нимъ несется свѣжее ногайское войско, — въ высокихъ сѣдлахъ скачутъ ногаи, союзники Сейдяка, машутъ длинными копьями и жаждутъ добычи. Пройдетъ въ степи тысяча ногаевъ, а слѣдъ, какъ отъ десяти всадниковъ, —

тажъ вздятъ ногам, заклятые враги сленаго хана Кучюма, точно волчья стая. Молодымъ орломъ несется ханъ Сейдякъ, хочетъ онъ нагнать слепаго хана Кучюма и отмстить ему за смерть отца и дяди. Вмёстё съ жизнью отниметъ Сейдякъ и всё награбленныя Кучюмомъ сокровища, и ханскихъ женъ,—и уведетъ въ неволю, какъ простую плённицу, ханскую дочь, красавицу Лейле-Канышъ. Зорки глаза у ногаевъ, какъ у ястребовъ, волчье чутье у нихъ, а слёпой ханъ Кучюмъ хитрее ихъ: онъ то впереди ихъ, то назади. Не свою сёдую голову бережетъ старый ханъ Кучюмъ, а молодое сокровище—Сайханъ-Лоланьго.

Горе темнымъ явсомъ обступило Кучюма, а его сердце радуется—и днемъ радуется, и ночью радуется. Пока ханъ Сейдякъ гонялся за нимъ по степи, старый Кучюмъ подступалъ уже къ Искеру. Немного войска оставалось съ Кучюмомъ, а того меньше засёло въ Искерѣ казаковъ. Посылаетъ ханъ Кучюмъ развёдчиковъ каждую ночь и ждетъ своей добычи. Матерый атаманъ Ермакъ не знаетъ, кого ему больше бояться — стараго хана Кучюма или молодаго Сейдяка. Мало казаковъ въ Искерѣ, перебиты атаманъ, остается атаманъ самъ-другъ съ Мещерякомъ. Засёли два атамана въ Искерѣ, какъ

два глаза во лбу, и зорко смотрять на немирную татарскую сторону, гдв, какъ вътеръ по степи, гуляеть чужая бъда.

- Нужно выманить московскаго медвёдя изъ берлоги, говорить мурза Карача хану Кучюму.—Не взять его намъ въ Искере.
- Вымани, если умѣешь,—отвѣчаеть слѣпой Кучюмъ.—Ты умѣешь обманывать... Ты у меня въ долгу, Карача.

Проглотилъ старый Карача эту обиду и крвико задумался. Подъ Искеромъ у него казаки убили двухъ сыновей, а самъ онъ бѣжалъ тогда отъ Ермака, какъ заяцъ. Нужно смыть свой позоръ, а то стыдно смотрѣть въ глаза Сайханъ-Доланьгэ. Молодая ханша не должна стыдиться своего отца. Обманулъ старый Карача атамана Кольцо, обманетъ и Ермака. Тогда онъ просилъ у Ермака защиты противъ ногаевъ, а теперь надо просить защиты отъ хана Кучюма. Сидитъ атаманъ Ермакъ въ Искерѣ, а смерть сама пришла къ нему и говоритъ:

— Нътъ тебя храбръе, атаманъ Ермакъ... Защити насъ, бухарскихъ купцовъ отъ слъцаго хана Кучюма, который не пропускаетъ нашъ караванъ съ дорогими товарами. Мы идемъ въ Искеръ...

Бухарскимъ купцомъ нарядился мурва Ка-

рача и безстрашно пришелъ къ Ермаку въ Искеръ. Сгорбился хитрый мурза, и не узналь его атаманъ Ермакъ. Отуманилъ желъзную казацкую голову мурза Карача сладкимъ ядомъ своихъ хитрыхъ словъ.

- A гдѣ вашъ караванъ?—спрашивалъ Ермакъ, разсчитывая, что лучше самъ ограбить его.
- **На Иртыш'** стоить караванъ, недалеко отъ Вагая...

Задумался Ермакъ при одномъ имени Вагая, унесла эта ръка у него двухъ лучшихъ атамановъ.

- Ты меня обманываешь! закричаль Ермакь. Меня ужь разь обмануль проклятый Карача, когда просиль помощи противь ногаевь... И ты тоже зовешь меня на Вагай, гдв убить Кольцо! Я велю тебя повъсить...
- Мнѣ все равно, кто меня ни повѣситъ: ты или ханъ Кучюмъ, отвѣчалъ неустрашимый мурва Карача. Если ужъ ты боишься Карачи, такъ мнѣ нечего бояться смерти...
- Хорошо, я тебѣ доставлю удовольствіе: если ты меня обманываещь, то я тебя повѣшу рядомъ съ проклятымъ Карачей...

Собрался въ походъ самъ Ермакъ, а мурза Карача ведетъ его къ своимъ въ засаду. Вмъ-

стѣ они ѣдять и пьють, вмѣстѣ спять, а мысли разныя. Стережеть Ермакъ бухарскаго купца, какъ свой глазъ, и не знаеть, что это его смерть. Такъ они пришли къ устью Вагая и выкинулъ ночью Ермакъ станъ на островѣ. Бурлить Иртышъ отъ осеннихъ дождей, пѣнится вода въ Вагаѣ, а мурза Карача ждетъ своего часа. Устали казаки, полегли спать, — не спитъ одинъ мурза Карача. Какъ змѣя, выползъ онъ съ острова, рыбой переплылъ черезъ рѣку, а на берегу уже ждуть его улусники и батыри.

— Теперь можно,—сказалъ Карача.—Я привель вамъ Ермака.

ПІумить Иртышь, півнится Вагай, крівпко спять казаки, а черезь ріжу на островь въ бродь переходять татары. Ведеть ихъ самъ мурза Карача, безстрашный старикъ. Темно на островів, какъ въ могилів, а татарскія сабли нашли казацкія головы и нашлись горячей казацкой крови досыта. Обезуміли съ просонья казаки, когда началась січа, а Ермакъ одинъ рубить татаръ... Впереди всіхъ бьется казацкій атаманъ, и валятся кругомъ него татары; мало казаковъ и никто не откликается на атаманскій голось—одни лежатъ мертвые, другіе бросились въ воду и утонули. Къ самому берегу прижали татары казацкаго атамана, но

онъ не сдался имъ живымъ, а бросился въ Иртышъ, какъ былъ, въ кованой желъзной московской кольчугь, которую ему послаль изъ Москвы царь въ подарокъ. Тяжела была царская милость вольному казацкому атаману и пошель онь ко дну, какъ брошенный въ воду дорогой камень. Утонулъ въ Иртышв атаманъ Ермакъ; казаки всѣ были перебиты, и только одинъ вернулся въ Искеръ, чтобы передать страшную въсть. Три дня и три ночи татары искали утонувшаго Ермака въ Иртышт и боялись радоваться. Не вериль сленой Кучюмъ, что погибъ его заклятый врагъ. Только на четвертый день Иртышъ отдалъ тело казацкаго атамана, и заплакали слепые глаза хана Кучюма отъ радости Три дня и три ночи веселились татары около мертваго Ермака... Женщины приходили издалека, чтобы на мертвомъ выместить смерть своихъ близкихъ. Одинъ Карача сидълъ печальный и не радовался: мертвый Ермакъ не воротилъ ему убитыхъ подъ Искеромъ сыновей. Съдая голова давила уже плечи стараго мурзы. Когда ханъ Кучюмъ хотёль его наградить, Карача отвётиль:

— Не нужно мнѣ награды, ханъ Кучюмъ... Пусть радуется за меня Сайханъ-Деланьгэ. Ей теперь не будетъ стыдно за отца... И Сайханъ-Доланьга радовалась, позванивая ханскимъ золотомъ. Она любила своего слѣпаго стараго волка, а ханъ Кучюмъ нашелъ въ ней потерянный изъ глазъ свѣтъ. Когда татары радовались смерти Ермака, столѣтній шаманъ Кукджу молчалъ и только качалъ головой: не татары и не ханъ Кучюмъ побѣдили атамана, а побѣдилъ его Иртышъ, буйный сынъ святой Оби.

— Сердится Иртышъ, — бормоталъ Кукджу: — много крови пролито въ Иртышъ...

Слушала старика одна шаманка Найдыкъ, которая попрежнему оставалась при красавицѣ Сайханъ-Доланьгэ.

Взять Искерь, послѣ смерти Ермака, ничего не стоило,—казаки ушли за Камень, откуда пришли. Великая была радость, когда татары вступили въ родной Искерь, и только одинъ канъ Кучюмъ не могъ видѣть своими слѣпыми глазами того, что потерялъ зрячимъ. Слава о канѣ Кучюмѣ пронеслась по всей степи, а изъ Ургенджа уже идутъ послы отъ сеида Али-Ходжи: они везутъ богатые дары красавицѣ Лейле-Канышъ.

— Берите ее, если она вамъ нравится, сказалъ старый ханъ Кучюмъ посламъ.—Одна у меня дочь... Такъ и скажите сеиду Али-Ходжъ.

По царски снарядили красавицу Лейле-Канышъ, а провожать ее въ Ургенджъ отправилась сама Лелипакъ-Канышъ: ханской кости Лейле-Канышъ, и нельзя ее отправить въ Ургенджъ одну, какъ привозятъ невольницъ. Тяжело разставаться старой ханшѣ съ Искеромъ, гдѣ она видѣла свои короткія радости, но не раздѣлить сердце на-двое, а о сыновьяхъ она уже довольно плакала. Два сына оставались у нея: красавецъ Алей и Абдулъ-Хаиръ, и оба желали провожать мать и сестру въ Ургенджъ, но старый ханъ Кучюмъ сказалъ красавцу Алею:

— Ты останешься въ Искеръ, а я пойду въ степь на встръчу Сейдяку... Ты еще молодъ, а ноги хитры. Береги пока Искеръ, а я провожу Лейле-Канышъ... Далеко Ургенджъ, чужіе люди въ Ургенджъ, а у меня одна дочь.

Тяжело было разставаться старому хану Кучюму не съ дочерью, а съ старой ханшей Лелипакъ-Канышъ, которая уходила отъ него навсегда. Много разъ и напрасно обижалъ ханъ старую ханшу и теперь мучила его совъсть. Ушелъ старый ханъ Кучюмъ въ степь, а красавецъ Алей заперся въ Искеръ. Лучшее вой-

ско ушло съ ханомъ Кучюмомъ, а ногам только этого и ждали: въ одну ночь обложили они Искеръ, какъ выпадаетъ осенній снътъ.

Страшное діло началось, хуже того, когда сиділи въ Искерів казаки: съ обінить сторонъ полилась своя татарская кровь, а свой врагь не знаеть пощады!.. Далеко ушель въ степь слівной ханъ Кучюмъ, не чуеть его волчье сердце неминучей біды, которая облегла Искерь. Поблідність Алей, когда смерть прилетіла къ нему на конців тонкой ногайской стрівлы и впилась въ молодое сердце. Біжали татары, заняли Искеръ ногаи съ Сейдякомъ, а слівной Кучюмъ ищеть ихъ далеко въ степи...

IX.

Молодой мѣсяцъ на небѣ, молодой ханъ Сейдякъ въ Искерѣ, а въ степи, какъ зимній буранъ, ходить слѣпой ханъ Кучюмъ съ своими мурзами, совѣтниками и женами. Двухъ сыновей хана Кучюма убилъ атаманъ Ермакъ; красавца Алея убилъ ханъ Сейдякъ; четвертый сынъ Арсланъ-Султанъ въ московской неволѣ,—оставался пятый, послѣдній сынъ Абдулъ-Хаиръ, какъ зеница ока, да три молодыхъ жены, всѣ три красавицы. Всѣхъ ихъ любитъ старый

ханъ, а всъхъ больше самую младшую Сайханъ-Доланьгэ, какъ свою молодость, какъ потерянный свътъ своихъ ханскихъ глазъ. Побиты два сына у мурзы Карачи, отведенъ въ полонъ богатырь Махметкулъ, а еще много силы у слъпаго хана Кучюма—цълое орлиное гнъздо онъ водитъ съ собой по степи.

— Погоди, ханъ, не трогай сейчасъ Сейдяка, — совътовалъ мурза Карача слъпому хану Кучюму.---Войной съ ногаями мы не вернемъ убитаго Алея, а придутъ казаки и Сейдякъ не радъ будетъ, что забрался въ Искеръ... Зачъмъ намъ проливать кровь напрасно?

Предсказанія мурзы Карачи всегда сбывались, какъ худые сны,—хитрый старикъ отлично видѣлъ чужія глупости и только не зналъ о своей головѣ, что ее ждеть впереди. Сказаль мурза Карача свое слово хану Кучюму, а на Тавдѣ уже показались казаки. Шли московскіе воеводы, а дорогу показывалъ послѣдній изъ ермаковыхъ атамановъ — Мещерякъ. Широкая эта была дорога, по которой хаживалъ за Камень батырь Махметкулъ, а потомъ пришелъ Ермакъ; холодной слезой пролилась она съ Камня по дремучимъ лѣсамъ въ зеленую степь и необъятное сибирское приволье. Плывутъ воеводы уже къ Иртышу, а молодой Сейдякъ

оканывается въ Искерв, какъ забравшійся въ широкую барсучью нору кроть. Идеть московская бъда на ногаевъ, радуется волчье сердце Кучюма... Радуется это сердце и плачеть за напрасную кровь, которая пролита въ междоусобной войн'в между татарами. Д'ети одной матери-степи враждують и отдають ее на поруганіе врагу. Но нъть примиренія между костью Тайбуги и костью Ибака, какъ между волкомъ и собакой, и только кровь ихъ льется вм'вств... Такъ думалъ слепой ханъ Кучюмъ, сынъ Муртазы, внукъ Ибака, и кровавыми слезами кипъло его ханское сердце. Закрылся тучами мъсяцъ на небъ, облегли казаки высокій Искеръ, а старый атаманъ Мещерякъ рыщетъ кругомъ, какъ поднятый изъ берлоги медвъдь. Не боятся ногаи московскихъ воеводъ, а Мещеряка, въ которомъ нётъ жалости. Выходить и заходить надъ Искеромъ солнце, шумить и стонеть Иртышъ, поють ногайскія стрізлы, а Кучюмъ стоить въ степи у озера Чили-Куль и ждеть, когда казаки выгонять изъ Искера молодаго хана Сейдяка. Недаромъ мучилась въ родахъ Тэсъ-Удуль, жена убитаго Кучюмомъ хана Едигера: храбро отбивается молодой Сейдякъ отъ наступающаго врага... Но плохое счастье у молодаго хана Сейдяка,-онъ, какъ

волчонокъ, попавшій лапой въ капканъ, не радъ и своей молодой храбрости. Даже святой Ханъ-Сеидъ пожалѣлъ храбраго Сейдяка и сказалъ хану Кучюму:

- Ханъ Кучюмъ, помоги Сейдяку... Ты ударишь на московскихъ воеводъ съ тылу, а Сейдякъ выйдетъ на нихъ изъ Искера. Попадутъ казаки между двухъ огней...
- Не могу, Ханъ-Сеидъ, отвъчалъ ханъ Кучюмъ, опуская свою съдую голову. Кровь между нами стоитъ... Когда московскіе воеводы выгонятъ Сейдяка изъ Искера, тогда и я ударю на казаковъ. А кость Ибака никогда не сростется съ костью Тайбуги...

Удивили хана Кучюма слова Ханъ-Сеида, а также и то, что его собственные совътники промолчали. Неужели онъ, слъпой старикъ, останется одинъ въ степи?.. Пусть будетъ такъ, какъ будетъ, а онъ, слъпой ханъ Кучюмъ, не помирится ни съ ногаями, ни съ казаками. Подъ Искеромъ кипитъ жестокая съча: бъются московскіе воеводы съ Сейдякомъ, и льется казацкая кровь вмъстъ съ ногайской. Но изнемогли ногаи, ворвались въ Искеръ казаки,—и попалъ въ плънъ молодой Сейдякъ, какъ орленокъ съ подбитымъ крыломъ. Ушли ногаи въ свою степь а московскіе воеводы не досчитались головы

последняю атамана Мещеряка...

— Теперь наша очередь, — говорить мурза . Карача.—Въ Искеръ намъ не взять казаковъ, а выманимъ ихъ въ степь...

Смѣлѣе голоднаго волка мурза Карача. Съ небольшимъ отрядомъ онъ идетъ прямо подъ Искеръ и задираетъ отдыхающихъ казаковъ. Но крѣпко засѣли московскіе воеводы въ Искерѣ и не поддаются хитрости Карачи. Ждетъ слѣпой Кучюмъ у озера Чили-Куль мѣсяцъ, ждетъ другой, а мурза Карача все еще не показывается.

— Себя обманеть Карача,—ворчить стол'втній Кукджу:—Москва хитрить...

Каждый день рано утромъ выходить стольтній Кукджу далеко въ степь, припадаеть къ земль ухомъ и слушаеть: подъ землей слышить онъ знакомый стонъ — это жалуется буйный Иртышъ. Нехорошій знакъ, но Кукджу молчить, чтобы не смущать напрасно храбрыхъ. Еще будеть пролито много крови—и чужой, и своей. А слупой ханъ Кучюмъ горитъ нетерпъніемъ помъриться силой съ московскими воеводами... Около него всъ три жены и жены его мурзъ и улусниковъ: храбръе будутъ биться татары, чтобы не отдать казакамъ самаго дорогого.

— Эй, вы, московскіе вороны! — кричить

мурза Карача, гарцуя подъ Искеромъ на своемъ лучшемъ иноходцъ.—Забрались въ чужое гнъздо и носу показать не смъете... Выходите, храбрецы, въ поле, помъряемся силой. Я убилъ атамана Кольцо, я убилъ атамана Ермака и васъ убью...

Не стерпъли московскіе воеводы и вышли изъ Искера ночью. Мурза Карача ждаль ихъ и притворился трусомъ. Побъжалъ Карача къ Чили-Куль и повелъ прямо казаковъ на самого Кучюма... Но хитръе оказались московскіе воеводы: раздълили они казаковъ на двъ части—одна пошла въ погоню за Карачей, а другая съ тыла обходила Чили-Куль.

— Застонала земля, ханъ, — говорить столътній Кукджу хану Кучюму.— Бъжить Карача, а за нимъ гонятся казаки.

Стоитъ ханъ Кучюмъ на холмѣ и ждетъ послѣдней битвы. Съ одной стороны его поддерживаетъ Ханъ-Сеидъ, а съ другой — шаманъ Кукджу. Татарское войско сошлось у озера, совсѣмъ готовое къ битвѣ. Послѣдній сынъ хана Кучюма, молодой Абдулъ-Хаиръ скрылся въ засадѣ. Все готово; застыло сердце въ груди у робкихъ женщинъ, а земля стонетъ все ближе и ближе... Не видять ничего слѣпые глаза стараго Кучюма, но все слышитъ его волчье ухо... Воть горячій скокъ татарскихъ степныхъ лошадей, воть дикій крикъ Карачи, лязгъ скрестившихся сабель и стоны раненыхъ. Бъжавшій отъ казаковъ Карача повернуль свой отрядъ къ нимъ лицомъ и врубился въ самую середину.

— Молодецъ Карача!...—повторяетъ слѣпой Кучюмъ.—Я слышу, какъ онъ рубитъ казаковъ... Пусть теперь Ураза-Магметъ ведетъ правое крыло на выручку Карачъ.

Ханъ махнулъ рукой, и киргизскій царевичь Ураза-Магметъ полетѣль въ битву. Напиравшіе на Карачу казаки дрогнули отъ этого натиска, а передніе ряды попятились. Слышитъ ханъ Кучюмъ, какъ смѣшались казаки, а бѣшеный Ураза-Магметъ рубитъ направо и налѣво. Но что это? Опять собрались казаки и напирають на Карачу. Ураза-Магметъ врубился слишкомъ далеко и не можетъ поспѣть на помощь Карачѣ, а старый мурза бьется одинъ противъ пятерыхъ.

- Отчего я не слышу голоса Карачи? спрашивалъ ханъ Кучюмъ стоящаго около него хана Сеида.—Живъ-ли онъ?
 - Нужно выпустить засаду, ханъ...

Второй разъ махнуль рукой ханъ Кучюмъ, и вылетъль съ своей засадой Абдулъ-Хаиръ, точно пущенная изъ лука стръла. Дрогнули

каваки отъ радостнаго татарскаго крика, смёшались и побъжали. Радостно крикнуль и слъпой ханъ Кучюмъ, услышавъ знакомый победный кликъ, и поднялъ объ руки кверху, какъ стояль на молитев. Но рано обрадовался слвпой ханъ Кучюмъ... Обманули его казаки своимъ притворнымъ бъгствомъ, какъ обманывалъ ихъ раньше мурза Карача: разступились казаки и засада Абдуль-Хаира пролетѣла дальше, а когда казаки сомкнулись—татарское войско было уже раздълено. Отдъльно бились всъ: и мурза Карача, и Ураза-Магметъ, и Абдулъ-Хаиръ. Но это была еще только половина бѣды: изъ-за озера поспъвала казацкая засада, вихремъ летвышая прямо на холмъ, гдв стоялъ самъ ханъ Кучюмъ.

- Бѣжимъ, ханъ! кричалъ Кукджу, подводя Кучюму верховую лошадь.
- Я не хочу бѣжать, когда другихъ бьють...— отвѣчалъ неустрашимый ханъ.—Пусть и меня убьють!...

Поздно замѣтилъ мурза Карача грозившую хану Кучюму опасность, но все-таки полетѣлъ на встрѣчу казацкой засадѣ, и еще разъ ханъ Кучюмъ услышалъ голосъ храбрѣйшаго изъ сво-ихъ мурзъ. Казаки давно замѣтили ханскую ставку и летѣли къ дорогой добычѣ; дорого бы

даль бълый царь за плъннаго кана Кучюма... Близко казаки, замолкъ и голосъ Карачи, а канъ Кучюмъ все не двигается и все стоитъ съ поднятыми руками, ожидая смерти. Разбъжались всъ въ страхъ, и около слъпаго кана Кучюма остались только: Сайханъ-Доланьго, шаманъ Кукджу, да святой Ханъ-Сеидъ. Когда казаки уже вынеслись на колмъ къ канской ставкъ, Ханъ-Сеидъ протянулъ свои руки надъ головой Кучюма, и сдълались они всъ четверо невидимыми: слъпой канъ Кучюмъ, Сайханъ-Доланьго, шаманъ Кукджу и самъ Ханъ-Сеидъ.

Великая бъда случилась и великое чудо!

X.

Послѣдній сынъ хана Кучюма, молодой Абдуль-Хаиръ, киргизскій царевичъ Ураза-Магметъ и старый мурза Карача попали въ плѣнъ, а съ ними вмѣстѣ и двѣ ханши, двѣ красавицы, Симбула и Сузгэ. Остальные были перебиты, уведены въ Искеръ плѣнниками или разбѣжались по степи, какъ зайцы. Пока стояла въ степи кость Ибака, зеленая степная трава еще не видала такого горя... Но этого мало: тѣ, кого не взяли въ плѣнъ казаки, сами пришли въ Искеръ съ повинной. Такъ передался бѣлому

парю старыйши изъ ханскихъ совытниковъ Чинъ-Мурза, а съ нимъ пришла въ Искеръ неутышная Кюнъ-Арыгъ.

— Мит бы хоть одинъ разъ взглянуть на Махметкула, — объясняла мать батыря: — всего одинъ разъ... А больше мит нечего ждать, кромт смерти.

Съ честью принимали московскіе воеводы этихъ внатныхъ поробъжчиковъ и съ честью отправили въ Москву, вмъстъ съ плънниками и пленницами. Лучшій цветь Искера ушель съ ними, и въ степи оставался одинъ слъпой ханъ Кучюмъ, котораго не могли взять ни хитростью, ни лаской, ни силой. Далеко въ верховьяхъ Иртыша скрывался слепой хань, а съ нимъ скрыкрасавица - ханша Сайханъ-Доланьгэ. Страниную бурю уносила въ себъ молодая ханша съ побоища на Чили-Куль: въ ней, въ Сайханъ-Доланьго, таилась ръка крови, которая должна пролиться, странная неволя враговь и зарево пожарищь. Уносила въ себъ красавицаханша и двухъ близнедовъ, двухъ Кучюмовичей. Нать, не умреть волчья кровь слапаго хана Кучюма, а съ ней не умреть и заклятая вражда къ русскимъ, ко всякому, кто протянетъ руку въ степь. По вечерамъ долго сидитъ у огонька молодая ханша Сайханъ-Доланые, сидить и

поеть свою любимую «Пѣсню о соломинкѣ», а слѣпой ханъ Кучюмъ горько плачеть...

- Было у тебя пять сыновей, — поеть Сайсанъ-Доланьгэ: — какъ пять пальцевъ на рукъ. А теперь не осталось ни одного. Не печалься, мой ханъ: двухъ сыновей рожу я тебъ, двухъ Кучюмовичей. Огнемъ пройдеть кость Ибака по степи...

Бережетъ слѣпой ханъ Кучюмъ молодую ханшу, а ихъ обоихъ берегутъ Ханъ-Сеидъ и шаманъ Кукджу, какъ двѣ схватившихся руки. Четверо ихъ, и никого они не боятся: пусть отдохнетъ ханъ Кучюмъ, пусть поетъ свои пѣсни Сайханъ-Доланьгэ. То въ лѣсу они живутъ, то въ степи, а больше всего любитъ молодая ханша крутой берегъ пѣнистаго Иртыша. Здѣсь нашелъ Кучюма посолъ московскихъ воеводъ изъ Искера и сказалъ:

- Ханъ Кучюмъ, лучше тебѣ покориться бѣлому царю, чѣмъ одному скитаться въ степи... Твои сыновья и жены въ плѣну, мурзы и совѣтники перебиты или тоже въ плѣну; не на что тебѣ больше надѣяться. А бѣлый царь тебя пожалуеть своей милостью, какъ и другихъ хановъ и князей...
- Б'ёлый царь—мой брать, и я не отдаваль ему сибирскаго царства,—гордо отв'ечалъ ханъ

Кучюмъ.—Если у меня взяли силой Искеръ, то это такъ нужно: Богъ великъ. Такъ и скажите моему брату, бълому царю! Когда я былъ въ счастъи, то не хотълъ ему покориться, а въ несчасти покоряются только трусы.

Посолъ посмотрълъ на слъпаго хана съ сожалъніемъ, но Ханъ-Сеидъ сказалъ ему:

— Ты рано пожалъть хана Кучюма... Да. Онъ сильнъе вашихъ московскихъ воеводъ. Оставайся до вечера и самъ увидишь.

Улыбнулся посолъ словамъ ханскаго совътника, но все-таки остался посмотръть на силу слъпаго хана Кучюма. Это было на крутомъ берегу Иртыша, —правый берегъ крутой, а лъвый разлегся степью. Сидитъ посолъ у ханской ставки и видитъ: вышла молодая ханша Сайханъ-Доланьгэ на берегъ, переплыла пънившуюся ръку на деревянномъ плоту и пошла въ степь. Идетъ красавица-ханша по степи, рветъ траву и полными горстями бросаетъ по объ стороны. За ней идетъ шаманъ Кукджу и шепчетъ заклинанія надъ сорванной травой.

- Ты видишь, что дълаетъ красавица-ханша?—спрашиваетъ Ханъ-Сеидъ.
 - Вижу: ходить по степи да рветь траву...
 - Смотри теперь, что будеть дальше.
- Смотрю...

Лолго ходила Сайханъ-Лоланьго по степи, нока не исчезла изъвиду. А посолъ все смотрить... Пропаль вмёсть съ ней и столетній шамань Кукджу. Тогда Ханъ-Сеидъ подняль объ руки кверху, закрыль глаза и дунуль въ степь. Свершилось великое чудо на глазахъ посла: зашевелилась сорванная ханшей трава, какъ живая... Гдё-то ударили въ большой бубенъ-и вышли большіе люди; ударили въ малые бубны-вышли простые джигиты. Сколько сорвано было ханшей травы, столько вышло въ поле и джигитовъ. Весело развѣваются конскіе хвосты на высокихъ копьяхъ, ржуть кони, бьють бубны, а войско все прибываеть... Насколько хваталь глазъ — вездъ изъ земли выходили джигиты. Страшно стало послу, а Ханъ-Сеидъ опять нодняль руку кверху, дунуль — и войско пронало.

— Иди въ Искеръ и скажи своимъ воеводамъ, что видълъ своими глазами, — объявилъ ему Ханъ-Сеидъ. — Много еще силы у слъпаго хана Кучюма...

Такъ и сказалъ посолъ въ Искеръ, а воеводы распустили слухъ, что ногаи заръзали слъпаго хана. Не правда это: живъ старый ханъ Кучюмъ и сейчасъ, онъ бродитъ по степи съ невидимымъ войскомъ. Гдъ онъ проинекъ—тамъ лежитъ трава, сорванная ханшею Сайханъ-

Доланьгэ. Одинъ онъ остался, потому что одинъ не измѣнилъ своей матери-степи и искалъ честной смерти въ открытомъ бою съ врагомъ. Вотъ почему, гдѣ будетъ въ степи стоять кошъ и гдѣ будетъ куриться живой огонекъ, тамъ будетъ пѣться и слава старому хану Кучюму, красавицѣ-ханшѣ Сайханъ-Доланьгэ и грознымъ Кучюмовичамъ!

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

